МАРК ЗАИКИН

БЕССРОЧНЫЕ · КНИГА ВТОРАЯ



СТАЯ

Можно ли победить ярость, не став ею?

Марк Заикин
Стая

https://litres.ru/74748648
SelfPub; 2026

Аннотация

Лео Фальк вернулся с полярного острова Карфакс в родной Гамбург. Вернулся живым, но прежней жизни у него больше нет: в его крови есть то, за чем охотятся бессмертные Дома.

Город на пределе. Волчья Стая, которой правит женщина по имени Мать, готовит ночь, после которой Гамбург не будет прежним: сто тысяч обескровленных людей на одной площади и один толчок Воя. Ей нужен Лео. Его медленное сердце держит волков лучше её ярости.

А на сорок четвёртом этаже башни «Меридиан» самая старая из Бессрочных ждёт, когда Лео придёт к ней сам.

Лео предстоит выучить Вой изнутри. Он не хочет ни покорности, ни ярости. Ему нужно третье, и времени у него до десятого октября.

Содержание

Пролог. Третья ночь 4
Часть первая. Полярный день 16
Глава 1. Рейне 16
Глава 2. Порог 31
Глава 3. Перчатки 45
Глава 4. Тромсё 63
Глава 5. Чёрные лодки 78
Глава 6. Полярный день 94
Глава 7. Груз 110
Конец ознакомительного фрагмента. 112

Марк Заикин
Стая

Можно стоять в Вое и не гореть. Надо только знать, кого держишь.
Дариус Кая

Пролог. Третья ночь

Карфакс, Серебряная башня, 23 марта 2027 года

Сначала был звук.

Лене Ланге одиннадцать лет не слышала звуков. В капсуле было тепло, вязко и тихо, как на дне ванны, когда ложишься с головой и считаешь до двадцати. Иногда сквозь это тепло проходило что-то похожее на гул, ровный, далёкий, как море за стеной. Иногда кто-то стучал по стеклу. Она не знала, что это стекло. Она не знала, что это стук. Она знала только, что иногда тишина вздрагивает.

А теперь был звук. Тонкий, сухой, с перерывами. Тик. Пауза. Тик.

Часы, подумала Лене. И удивилась, что умеет думать слово «часы».

Она открыла глаза.

Темнота была не такая, как в капсуле. В капсуле темнота была красноватая, тёплая, с мутным светом откуда-то сбоку.

Эта была серая, холодная и очень чистая. Лене видела в ней всё. Потолок с лепниной, высокий, метра четыре. Люстру без лампочек, хрустальную, с подвесками, которые чуть-чуть покачивались от сквозняка. Окно, закрытое тяжёлой шторой, и узкую полосу между шторой и рамой, за которой тоже была темнота, только другая, живая, с зелёным отсветом. Каждая подвеска люстры была видна отдельно. Каждая трещинка в лепнине. Она видела всё это так ясно, будто кто-то протёр ей глаза изнутри.

Тик. Пауза. Тик.

Часы стояли на каминной полке. Бронзовые, с двумя амурами по бокам. Стрелки показывали без десяти одиннадцать.

Лене лежала и смотрела на стрелки, и ей было страшно пошевелиться. Она не помнила, как двигаются. Она помнила, что когда-то это было просто: встаёшь, идёшь на кухню, ставишь чайник. Но между «встаёшь» и «идёшь» была пропасть в одиннадцать лет, и она боялась в неё заглядывать.

Она пошевелила пальцами правой руки. Пальцы послушались.

Потом пришёл голод.

* * *

Он пришёл не из живота. Лене была медсестрой, она знала, где живёт голод: под ложечкой, в пустом желудке, в сла-

бости коленей. Этот жил везде. В дёснах. В кончиках пальцев. За глазами. В горле, которое вдруг стало сухим, как бумага. Он был похож на жажду, только жажду можно было назвать, а у этого не было имени. Он просто был, ровный, огромный, и всё её тело было повёрнуто к нему, как стрелка компаса.

Она села на кровати. Резко, одним движением, не думая. Тело сделало это само, быстрее, чем она успела испугаться. Простыня соскользнула. На ней была длинная белая рубашка из тонкого хлопка. Чужая. Руки, которые лежали на одеяле, были тонкие, очень белые, с синими жилками на запястьях. На сгибе левого локтя была маленькая круглая отметина, похожая на старый след от катетера. Других не было.

Она смотрела на свои руки и пыталась вспомнить, какими они были. В последний раз, когда она их видела.

Кухня. Жёлтые занавески. Она режет хлеб. Руки в муке, потому что до этого лепила с Адой печенье в форме зверей, и Ада настаивала, что ёж должен быть с изюмом вместо глаз. Томас у плиты, жарит яйца, поёт что-то фальшиво, про моряка. Кот Мортен на подоконнике, рыжий, толстый, смотрит на сковородку так, будто сковородка ему должна.

Это было. Она помнила. Это было так ярко, что на секунду комната с лепниной исчезла и вместо неё стояла кухня, и пахло жареными яйцами и тмином.

Потом кухня ушла, и голод вернулся.

* * *

Дверь открылась без звука.

В проёме стоял мужчина. Высокий, тонкий, в сером костюме, с тёмными волосами, гладко зачёсанными назад. Лицо бледное, неподвижное, без возраста. В левой руке он держал серебряный поднос, на подносе стоял бокал. Высокий, на тонкой ножке, хрустальный. В бокале было тёмное.

Лене узнала его.

Она не знала откуда. Она не знала его имени. Но она узнала его так, как узнают запах больницы, в которой когда-то лежали. Что-то в теле сжалось. Ночь. Машина у подъезда. Мужчина в сером, который держит на руках девочку в розовой пижаме. Девочка спит. Мужчина говорит Лене тихо, очень вежливо, по-датски, с лёгким шведским выговором: «Она уже спит».

— Вы, — сказала Лене.

Голос был хриплый, чужой. Она не говорила одиннадцать лет. Слово вышло по-датски.

Мужчина остановился в дверях. Он смотрел на неё, и в его тёмных глазах что-то отразилось от зелёного отсвета из-под шторы. Отразилось и погасло, как у кошки.

— Я, — сказал он. Тоже по-датски. — Меня зовут Элиас. Вы проснулись раньше, чем мы думали. — Он помолчал. — Вам нужно выпить.

Он вошёл и поставил поднос на столик у кровати. Двигался он плавно, но как-то бережно, будто нёс что-то тяжёлое. Лене увидела почему. Левый рукав серого пиджака был закатан до локтя, и рука под ним была не белая. Серая. Сухая, как старая кора, как зола в остывшей печке. Серое шло от запястья к локтю и там кончалось неровной границей, похожей на береговую линию на карте.

— Что это? — спросила Лене.

— Укус, — сказал Элиас. — Это неважно. Выпейте.

Она посмотрела на бокал. Голод в ней поднялся, как вода в шлюзе. Она знала, что в бокале. Она была медсестрой двадцать лет. Она знала цвет венозной крови, знала, как она темнеет в пробирке, если оставить её на свету. Она знала, что сейчас возьмёт этот бокал и выпьет, потому что иначе голод разорвёт её изнутри, и знала, что не хочет этого так сильно, как никогда ничего не хотела.

— Откуда она? — спросила Лене.

Элиас посмотрел на неё. Долго.

— Из пакета Vein, — сказал он. — Анонимный донор. Двадцать два года. Сдал её за двести евро в Тромсё. Она не знает, кто будет пить. Вы не знаете, кто её отдал. Так устроен мир. Номеров на бокалах больше нет, фру Ланге. Их разбили.

Она не поняла, о чём он. Потом поняла. Капсулы. Номера. Её номер.

Шестьдесят один.

Она не помнила, откуда знает этот номер. Он просто лежал в ней, как камешек в ботинке.

Лене взяла бокал. Руки не дрожали. Это было странно: руки должны были дрожать. Она поднесла бокал к губам и выпила, всё, одним долгим глотком, и голод отступил, как отступает море при отливе, оставляя мокрый песок.

Она поставила бокал на поднос. Посмотрела на Элиаса.

— Где моя дочь? — сказала Лене Ланге.

* * *

Элиас не ответил. Он только повернул голову.

Кровать стояла у противоположной стены. Такая же, как у Лене, широкая, с резными столбиками. На ней, под белым одеялом, кто-то лежал. Лене видела только волосы на подушке. Длинные. Белые. Почти серебряные.

Она встала. Ноги держали. Она прошла через комнату босиком, по холодному паркету, и опустилась на колени у кровати.

Девушка. Восемнадцать, может быть, девятнадцать лет. Очень бледная. Тонкое лицо с высокими скулами, прямой нос, светлые ресницы, губы, плотно сжатые даже во сне. Белые волосы рассыпаны по подушке, кое-где в них засохло что-то серое, похожее на пепел. На ней тоже была белая рубашка. Правая рука лежала поверх одеяла, ладонью вверх.

Лене смотрела на это лицо и не узнавала.

Она искала в нём круглые щёки. Ямочку на подбородке. Чёлку, которую сама подстригала маникюрными ножницами, криво, и Ада ругалась. Щербинку между передними зубами. Ничего этого не было. Было взрослое, строгое, красивое и совершенно чужое лицо.

А потом Лене посмотрела на руку.

На запястье, на тонкой белой коже, были буквы. Синие, чуть размытые, написанные шариковой ручкой мелким почерком с длинными петлями. Три слова, одно под другим.

Lene.

Ланге.

И ниже, мельче всех:

Мортен.

Лене смотрела на это слово долго. Она не могла понять, что чувствует. Голод отступил, и на его месте было что-то другое, большое и острое, и у этого тоже не было имени.

— Мортен, — сказала она вслух.

Рыжий, толстый, на подоконнике. Ада звала его «Мортен-господин» и кормила под столом сыром, когда думала, что никто не видит. Мортен однажды украл целую сосиску со сковородки Томаса, и Томас гонялся за ним по всей квартире с лопаткой, а Ада визжала от счастья.

Никто на свете, кроме неё, Томаса и Ады, не знал, как звали кота.

Лене взяла эту руку. Холодную. Она держала её обеими ладонями и смотрела на буквы, и по её лицу что-то текло, и

она не сразу поняла, что это слёзы. Она не знала, что Вечные могут плакать. Она вообще ничего не знала про Вечных. Она знала только, что держит руку своей дочери.

* * *

— Она выпила позже вас, — сказал Элиас у неё за спиной. Тихо. — На несколько минут. На рассвете. Она встанет этой ночью. Скоро.

— Она умерла? — спросила Лене, не оборачиваясь.

— Вы обе умерли. Двадцать первого марта, на рассвете, на скале у моря. Вы первой, она второй. Так она захотела. Сегодня третья ночь.

Лене не стала спрашивать, что это значит. Она догадывалась. Она проснулась в чужой рубашке, с чужим голодом и с глазами, которые видят в темноте каждую подвеску на люстре. Она медсестра. Она умеет складывать симптомы.

— Почему? — спросила она.

Элиас долго молчал. Часы на камине тикали.

— Потому что иначе вы бы умерли совсем, — сказал он. — Через три дня, может, через пять. Ваше тело одиннадцать лет жило на нашей крови. Оно разучилось жить само. Ваша дочь знала это. Она обменяла.

— Что обменяла?

— Себя.

Лене повернулась к нему. Он стоял у окна, у самой шторы,

в полосе зелёного отсвета, и серая рука висела вдоль тела.

— На что? — сказала Лене.

— На вас, — сказал Элиас. — И на то, чтобы несколько людей смогли уйти морем. Это долгая история, фру Ланге. Она сама вам расскажет. Она хорошо рассказывает. Она теперь помнит всё.

* * *

Ада пошевелилась без десяти полночь.

Сначала дрогнули ресницы. Потом пальцы в ладонях Лене. Лене сжала их. Она не знала, что сказать. Она одиннадцать лет ничего не говорила. Она не знала, на каком языке. Девочка, которую она укладывала спать, говорила по-датски. Девушка на кровати писала на запястье по-немецки, по-датски и, кажется, ещё на каком-то языке.

Ада открыла глаза.

Серые. Лене помнила их серыми. Это совпало. Хотя бы это.

Глаза смотрели в потолок, на лепнину, на люстру, и Лене видела, как они делают то же, что делали её собственные час назад: видят всё. Каждую трещинку. Каждую подвеску. Потом глаза медленно повернулись.

И остановились на её лице.

Лене не знала, что Ада увидит. Сорокашестилетнюю женщину со светлыми волосами, заплетёнными кем-то в косу на

плече. Худое лицо. Бледное. Чужую рубашку. Мокрые щёки.

Ада смотрела на неё. Губы у неё приоткрылись. Лене видела, как она хочет что-то сказать и не может. Как сжимаются пальцы. Как по лицу, взрослому, строгому, чужому, проходит что-то очень детское и очень старое, будто открывается дверь в комнату, где давно никто не жил.

— Мама, — сказала Ада. По-датски. — *Mor*.

Лене наклонилась и прижалась лбом к её руке. К трём словам на запястье.

— *Lille fugl*, — сказала она. Птичка. — Я здесь.

Она не знала, сколько они так сидели. Часы на камине пробили полночь, тонко, двенадцать раз, и потом ещё четверть, и ещё. Ада держала её руку так крепко, что будь Лене живой, остались бы синяки. Ни одна из них не плакала вслух. Только у Ады дрожали губы, и она всё время смотрела на мать, не отрываясь, будто боялась моргнуть.

Потом Ада сказала, тихо, почти шёпотом:

— Я хотела, чтобы ты увидела меня первой. Когда проснёшься. Чтобы первое было моё лицо.

— Я увидела часы, — сказала Лене. — Потом его. — Она кивнула на Элиаса у окна. — Потом тебя.

Ада посмотрела на Элиаса. Что-то промелькнуло между ними, короткое, без слов.

— Значит, первой увидела я, — сказала Ада. — Тебя.

И вдруг улыбнулась. Криво, одним уголком рта. Как Томас, когда у него подгорали яйца.

Лене узнала эту улыбку. Её одну из всего лица.

* * *

Голос из двери был мягкий, ровный, низкий. По-шведски.

— Добро пожаловать домой.

Лене обернулась.

В дверях стояла женщина. Высокая, в длинном платье цвета стали, в серых перчатках до локтя. Волосы, тоже стальные, были убраны в узел, но небрежно, и несколько прядей выбились и висели у щёк. Лицо было красивое и усталое. Сухое. У глаз морщины, глубокие, как у женщины за пятьдесят. Кожа на шее тонкая, будто истёртая. Она стояла, держась одной рукой за косяк, и Лене, медсестра, сразу увидела, что держится она не для красоты. Ей было трудно стоять.

Лене никогда её не видела. Или видела. В красноватой темноте капсулы, сквозь стекло, иногда, по ночам. Тень, которая наклоняется над крышкой. Рука в перчатке, которая гладит стекло. Голос сквозь воду: *шестьдесят первая, ты держишь меня, держи меня ещё*.

Женщина смотрела на Аду. Потом на Лене. Долго.

— Вы обе будете жить здесь, — сказала она. — Сколько захотите. Сто лет. Двести. У вас будет всё. Комнаты, книги, кровь, свет. Никто не тронет вас. Никто не посмеет. Вы под защитой Дома Корвин. Это теперь ваш дом.

Лене поднялась с колен. Медленно. Она была в чужой ру-

башке, босая, со следами слёз на лице. Женщина в дверях была в шёлке и перчатках. Лене посмотрела на неё сверху вниз, хотя была ниже ростом. Она не знала, как это получилось.

Она вспомнила стекло. Руку, которая его гладит. Голос сквозь воду. Одиннадцать лет.

— Это не мой дом, — сказала Лене Ланге.

Ингрид Корвин ничего не ответила. Она только чуть крепче взялась за косяк.

За окном, за тяжёлой шторой, над фьордом, над чёрными башнями Карфакса, шло зелёное сияние. Часы на камине пробили половину первого. Ада, не отпуская руки матери, медленно села на кровати и посмотрела на Ингрид. Спокойно. Ясно. Как смотрят на дверь, которую ещё предстоит открыть.

Элиас у окна опустил серую руку и отвёл глаза.

В ту ночь они больше ни о чём не говорили. Лене сидела на краю кровати дочери до самого утра, до тех пор, пока за шторой не начало светлеть и тело не потянуло её в тяжёлый, вязкий, похожий на капсулу дневной сон. Последнее, что она помнила, засыпая, было лицо Ады над ней. Серые глаза. И шёпот, по-датски, почти неслышный:

— Мы найдём девочку, мама. Его сестру. Я обещала.

Лене хотела спросить, какую девочку. Чью сестру. Кому обещала.

Не успела.

Часть первая. Полярный день

Глава 1. Рейне

Пятнадцатого апреля солнце над Рейне село в двадцать один ноль четыре. Вчера оно село в двадцать один ноль ноль. Завтра сядет в двадцать один ноль восемь.

Лео это не считал. Он просто замечал.

Разница была важная. Когда считаешь, ты держишь в голове столбик и всё время к нему прибавляешь, и столбик растёт, и за ним надо следить, как за кастрюлей на плите. Когда замечаешь, ты видишь число и отпускаешь его. Солнце село на четыре минуты позже. Хорошо. Дальше.

Он учился этому три недели. Пока получалось через раз.

Красный рыбацкий домик стоял на сваях над водой, и по вечерам, когда начинался прилив, вода подходила под пол так близко, что было слышно, как она трётся о брёвна. Две комнаты. Кухня с печкой, столом и старым буфетом, в котором жили банки с солёными огурцами, кофе и рыбьим жиром в капсулах, который Арне заставлял всех пить по утрам. Вторая комната, спальня, с двумя двухъярусными кроватями и одной обычной у окна. Обычная была Арне, хотя Арне спал на ней редко: старик почти всё время сидел в лодочном сарае или на мостках, курил трубку и смотрел на горы, как

будто горы ему что-то должны.

Горы стояли прямо из воды. Серые, острые, с белыми полосами снега в расщелинах. Лео первую неделю не мог на них смотреть: после Карфакса любая высокая серая стена над водой казалась ему Бастионом. Потом привык. Горы были просто горы. Им было всё равно, кто ты.

* * *

Утро начиналось с новостей.

Ноутбук Нин стоял на кухонном столе между кофейником и банкой огурцов. Нин сидела перед ним с шести утра, в чёрной толстовке, с ногами на стуле, и ела хлопья прямо из пачки. Это была её позиция. Лео ни разу не видел, чтобы она сидела как-то иначе.

— Двадцать шестой день, — сказала Нин, не поднимая головы, когда он вошёл. — «Пустой ящик». Подключились Бремен и Ганновер. В Берлине вчера вышли курьеры Pulse с Кройцберга. Синие ящики, пустые, на асфальте перед офисом Vein на Потсдамер-плац. Двести штук. Красиво сняли, кстати. Сверху, с дрона.

— Кто снимал?

— Какой-то парень из Нойкёльна. Не Lumen. Lumen показывает другое. — Она развернула ноутбук к нему. — Смотри.

На экране было лицо. Улыбчивая женщина в белом ха-

лате, на фоне белой стены с логотипом Vein, капля в круге. Подпись: *Доктор Марта Зееман, медицинский директор Vein Europe*.

— …мы понимаем озабоченность молодёжи, — говорила доктор Зееман мягким, тёплым голосом, — и именно поэтому Vein с первого мая удваивает выплату за каждую донацию. Двести евро становятся четырьмястами. Мы хотим, чтобы каждый донор чувствовал, что его вклад ценен. Потому что он ценен.

Лео смотрел на экран. Четыреста евро за пол-литра. Это было больше, чем он получал в лучший месяц на RedDrop, когда сдавал сверх лимита и потом три дня не мог подняться по лестнице.

— Они боятся, — сказала Нин. — Запасы в банках крови Гамбурга упали на сорок процентов. Я смотрела их внутренние таблицы. Вечные в HafenCity третью неделю пьют «из резерва». Знаешь, что такое резерв? Замороженная плазма двухлетней давности. Говорят, на вкус как картон.

— Откуда ты знаешь, какая она на вкус?

— Из чата горничных «Меридиана». — Нин пожала плечами. — Они жалуются. Вечным невкусно, Вечные злые, бьют посуду.

Лео сел за стол. Налил себе кофе. Кофе у Арне был норвежский, светлый и кислый, его варили в кастрюле и пили без сахара. Лео первые дни морщился. Теперь пил.

— Что ещё?

Нин пролистала.

— Конклав назначил слушания по Корвин. — Она прочитала с экрана: — «Чрезвычайное заседание Конклава Домов для рассмотрения обстоятельств пилотной медицинской программы состоится в период полярной ночи на Карфаксе». Полярная ночь. Это с конца ноября. Семь месяцев. Им некуда спешить. Они вечные.

— Ингрид будет на слушаниях?

— Ингрид будет на скамье подсудимых. Если доживёт. — Нин помолчала. — Не в том смысле, что умрёт. В том смысле, что постареет. Ты видел её на скале.

Лео видел.

— Дальше.

— Дальше хорошее. — Нин впервые за утро подняла голову, и у неё было лицо человека, который приберёг конфету. — Осло отказал.

— Кому?

— Tal Security. Пятнадцать наших на Карфаксе. Тех, что выносили людей. Tal требовал их выдачи как террористов, по Хартии, статья тридцать девятая. Норвегия вчера ответила официально: нет. «Лица, о которых идёт речь, в момент событий оказывали помощь пострадавшим гражданам Норвегии и других государств. Правительство Норвегии не усматривает оснований для их передачи частной военной компании». — Нин прочитала это с удовольствием, медленно, по слогам. — Их перевезут в Тромсё. Под охрану полиции. Как

свидетелей.

Лео поставил кружку.

Первая страна. Первая страна за восемнадцать лет, которая сказала Tal Security «нет». Сказала про волков.

— Видимость, — сказал он.

— Аурел был прав, — сказала Нин. — Противно, но был.

* * *

Дариус сидел на мостках, свесив ноги к воде.

Он сидел так каждое утро. Босиком, хотя вода в апреле была плюс четыре и доски по утрам покрывались инеем. Ему было не холодно. Волкам вообще редко бывало холодно. Он сидел, смотрел на горы и слушал что-то в наушниках. Не музыку. Лео один раз спросил, и Дариус снял наушник и дал ему послушать: там было тихо. Совсем. Просто наушники в ушах, чтобы никто не говорил с ним.

Лео сел рядом. Тоже свесил ноги, но не до воды.

Утреннее солнце било сбоку, низкое, и в его свете Лео увидел то, чего не хотел видеть. У Дариуса на правом виске, в чёрных густых волосах, была седая прядь. Не одна седина. Прядь. Шириной в палец.

Неделю назад её не было. Или была, а Лео не замечал.

Дариусу было девятнадцать. Стареют вдвое быстрее. Редко живут дольше сорока. Лео знал это с четырнадцати лет, это знали все, это показывали в школе на уроках граждан-

ской безопасности, вместе с картинками белых глаз и номером горячей линии Tal. Он знал это и раньше. Но знать и видеть прядь на виске лучшего друга было не одно и то же.

Дариус снял наушник.

— Ты смотришь, — сказал он. — Я чувствую.

— Смотрю.

— Двадцать два. — Дариус потрогал висок. — По-ихнему. По-волчьему. Мне по паспорту девятнадцать, а телу уже двадцать два. Через два года будет двадцать шесть. Через десять мне будет сорок, а тебе двадцать девять. — Он усмехнулся. — Будешь возить меня в коляске, Капитан. По набережной. С пледом на коленях.

— Буду.

— Врёшь. Ты будешь занят. Ты будешь спасать мир. — Дариус надел наушник обратно. Потом снял снова. — Она звала ночью.

Лео не спросил, кто.

— Что говорила?

— Ничего. Она не говорит. Она… — Дариус поискал слово. — Ты слышишь, как кто-то дома включил свет. Издалека. И свет тёплый. И ты знаешь, что тебя там ждут. — Он замолчал. — Тысяча километров, брат. А я слышу. Она стала сильнее после Белого театра. Пятнадцать ушли с ней, и к ней пришли ещё. Я не знаю сколько. Много.

— Тебя тянет?

Дариус долго не отвечал. Потом сказал:

— Меня всегда тянет. — И снова надел наушник.

* * *

Каспар был в лодочном сарае с лебёдкой «Тове».

Лебёдка была ржавая, советская, как говорил Арне, хотя откуда на норвежском сейнере советская лебёдка, никто не знал. Каспар разобрал её на части и третий день собирал обратно. На брезенте на полу лежали шестерёнки, пружины, болты, гайки, разложенные в ровные ряды, по размеру, как инструменты в операционной. Сам Каспар сидел на перевёрнутом ящике, огромный, в рыбацком свитере Арне, который был ему мал и не доходил до запястий, и чистил шестерёнку зубной щёткой.

— Фальк, — сказал он, не поднимая головы.

— Тальмар.

— Не надо. — Каспар чистил шестерёнку. — Я теперь просто Каспар. Как у вас. Без фамилии.

— У нас есть фамилии.

— У вас есть. У меня нет. — Каспар поднёс шестерёнку к свету, посмотрел на зубцы. — Хейлы не падают. Я упал. Значит, не Хейл. Тальмар меня тоже не возьмёт обратно. Значит, не Тальмар. Арне говорит, можно взять фамилию по месту. Каспар Рейне. — Он поморщился. — Звучит как сорт сыра.

Лео сел на ящик напротив.

— Зачем ты её чинишь? Арне сказал, она лет двадцать не работала.

— Затем, что она сломана. — Каспар положил шестерёнку в ряд. Взял следующую. — Отец говорил: если не знаешь, что делать, делай то, что умеешь. Я умею собирать оружие вслепую за сорок секунд. Здесь нет оружия. Есть лебёдка. — Он помолчал. — Карабин я тоже чищу. Каждый вечер. Нин думает, я с ума сошёл.

— Нин так не думает.

— Нин сказала: «Тальмар, если ты ещё раз начнёшь чистить карабин в час ночи у печки, я выброшу его в фьорд». — Каспар чуть улыбнулся. — Потом принесла мне масло. Нормальное, оружейное. Где-то нашла. Я не спрашивал.

* * *

Магда сидела у Арне на мостках у лодочного сарая и учила норвежский.

Арне учил её так, как, наверное, учил внуков: показывал на вещь и называл. Båt. Lodka. Fjell. Gora. Måke. Chaika. Магда повторяла с польским акцентом, мягко, и Арне качал головой и повторял ещё раз, громче, как будто дело было в громкости.

Тове, подумал Лео. Он учил так Тове.

Магда увидела его и махнула рукой. Она выглядела лучше, чем в первые дни. Тогда, на «Тове», в трюме среди сетей,

она была серая, худая, с сухими глазами, и не говорила почти ничего, только иногда вздрагивала во сне. Сейчас у неё порозовели щёки. Серые волосы она обрезала коротко, по-мальчишески. Белых глаз у неё не было уже три недели. Ни разу. Ни одной искры.

Лео не знал, что это значит. Магда тоже не знала. В ночь Белого театра он положил на неё руку и замедлил её сердце, и она стала человеком. С тех пор она не превращалась. Может быть, не могла. Может быть, не хотела. Она говорила, что Вой слышит до сих пор, но тихо, как радио в соседней квартире.

— Капитан, — сказала Магда. — Арне говорит, в конце мая солнце перестанет садиться.

— Двадцать седьмого, — сказал Арне, не вынимая трубки. — До семнадцатого июля. Полярный день. Ни одного заката.

— Ни одного Вечного, — сказала Магда.

Арне кивнул.

— Ни одного. Они на север летом не ездят. Кто поедет туда, где солнце не садится? Только сумасшедший. Или старик, которому уже всё равно. — Он выпустил дым. — Будете здесь сидеть до августа, как в крепости. Никто не придёт.

— А мы? — сказал Лео.

Арне посмотрел на него одним глазом.

— А вы будете сидеть, — сказал он. — Тоже как в крепости. Из крепости, парень, выходить так же трудно, как в неё

входить. Я рыбак, я знаю. Сеть держит рыбу с обеих сторон.

* * *

Над кроватью Лео на стене висели три вещи.

Донорская карта отца. Пожелтевший картон, сложенный вдвое, с тремястами двенадцатью пробитыми клетками. Фотография латунных песочных часов на лабораторном столе, распечатанная на принтере Арне, который жевал бумагу: песок сыплется, верхняя колба почти полная. И карта.

Карту Лео нарисовал сам, от руки, на обратной стороне морской карты Арне. Карфакс. Остров, фьорд, Бастион, пять башен Домов, Гавань, мыс с рыбзаводом. Чёрный банк Нокс, в скале под западным склоном. Его Лео обвёл красным. Рядом мелким почерком было написано всё, что он знал. Знал он мало.

Хранилища в скале. Вход с набережной? Через галерею? Охрана: тени. Порог: банк — не жильё, право порога не действует. Мия: где? Какой уровень?

Ада сказала: Чёрный банк.

Ада сказала это на скале, в шесть утра, за минуту до того, как выпила. Лео держался за эти слова три недели. Они были единственным, что у него было.

Он сидел на кровати и смотрел на карту и думал о том, что не может туда попасть. Карфакс в двухстах километрах к северо-западу, в открытом море. Остров Домов, на котором

сейчас сидят все пятеро глав, и Tal Security, и тени Нокс, и Элиас, и Ингрид. И Ада. Лео Фальк, восемнадцать лет, награда два миллиона евро. Он не мог туда попасть, и он не мог перестать об этом думать.

Он считал. Он ловил себя на этом и не мог остановиться. Двести километров. Четыре часа на сейнере в хорошую погоду. Тридцать шесть дней с Равноденствия. Двадцать шесть дней «Пустого ящика». Мие двенадцать лет и семь месяцев. Сколько миллилитров крови можно взять у двенадцатилетней девочки в неделю, чтобы она не умерла.

Он остановился на последнем числе. Встал и вышел на мостки.

* * *

Мать позвонила в воскресенье, как всегда. В девять вечера, через цепочку Нин из трёх номеров, двух серверов и спутника. Голос шёл с задержкой в полторы секунды.

— Ничего, — сказала Ханна. — Я была у «Меридиана» опять. Брюк не вышел. Вышел охранник Tal. Сказал, если приду ещё раз, меня внесут в список.

— Какой список?

— Не знаю. Не сказал. — Полторы секунды. — Маттиссен говорит, у них много списков.

— Маттиссен у тебя часто бывает?

Пауза была длиннее полутора секунд.

— Он помогает, — сказала мать. — Он чинил кран в ванной. И он знает, как у них всё устроено. В Tal. Он пишет письма. Адвокатам, в Bürgerschaft, в Брюссель. Никто не отвечает, но он пишет.

Лео ничего не сказал. Мать тоже. Потом она сказала, тише:

— У нас на стене дома написали. На торце. Большими буквами, краской из баллончика, синей. *КАПИТАН ВЕРНЁТСЯ.* Херр Петерсен хотел закрасить, потому что управляющая компания грозит штрафом. Фрау Оконкво не дала. Стоит теперь. Вчера кто-то подписал снизу, другим цветом: *С СЕСТРОЙ.*

Лео сидел на кухне у окна. За окном садилось солнце. В двадцать один ноль восемь. Он замечал.

— Мам. Я её найду.

— Я знаю, — сказала Ханна. — Ты это уже говорил.

— Я скажу ещё раз.

— Говори, — сказала мать. — Мне нравится, как ты это говоришь. Как отец. Он тоже говорил, когда что-то решал. Один раз, тихо, и потом делал. — Полторы секунды. — Только ты не он. Ты помни. Ты не он.

После звонка Лео долго сидел у окна. Солнце село. Над горами стало синим, потом тёмно-синим. В домике все разошлись по местам. Нин у ноутбука. Каспар у печки с карабином и банкой масла. Магда на верхней полке с норвежским словарём. Арне на мостках с трубкой. Дариус на своей ниж-

ней полке, лицом к стене, в наушниках, в которых была тишина.

Лео лёг. Смотрел в потолок. На потолке над ним было тёмное пятно от протечки, похожее на остров. Он не стал считать, на какой.

* * *

Стук в дверь был в час ночи.

Лео не спал. Он услышал не стук. Он услышал раньше, за полминуты до стука: что-то изменилось в воздухе. Холод. Не тот, что шёл с воды. Сухой, плотный, неподвижный. Такой стоял в лобби «Меридиана». Такой стоял в коридорах Бастиона, когда за поворотом был кто-то из Вечных.

Он сел на кровати.

Дариус уже сидел на своей. Наушники валялись на полу. Глаза у него были белые. Не до конца, наполовину, как будто белое медленно наливалось в чёрное. С волос на виске сыпались мелкие искры.

— Вечный, — сказал Дариус одними губами. — На мостках.

Каспар у печки уже стоял, с карабином в руках, ствол в пол. Нин проснулась, подняла голову от ноутбука, на щеке у неё отпечаталась клавиатура. Магда свесилась с верхней полки. Арне сидел на своей кровати у окна и смотрел на дверь. Трубки у него во рту не было.

Стук повторился. Три раза. Неторопливо. Вежливо.

Лео встал и подошёл к двери. Дариус встал за ним. Лео поднял руку, не оборачиваясь, и Дариус остановился. Белое в его глазах дрожало, как вода в стакане на столе в поезде.

— Кто? — сказал Лео через дверь.

— Ты знаешь кто, кандидат, — сказал голос.

Женский. Низкий, ровный, с французским выговором, который Лео слышал полгода по три раза в неделю, в классе этикета и в коридорах Бастиона. Голос, который в ночь Последнего заката, на приёме, с бокалом, к которому она не притрагивалась, сказал ему: «Не пей ничего, что тебе нальют на этом острове».

Сабина Нокс.

Лео стоял у двери. Через тонкие доски он чувствовал её. Холод. Тишину. Терпение. Как у кошки у мышиной норы.

— Вы не можете войти, — сказал он.

— Не могу. — Голос был спокойный. — Это дом херра Арне Сольберга. Его дед построил его в тысяча девятьсот двадцать шестом году. Херр Сольберг живёт здесь. Без его приглашения или приглашения кого-либо из живущих я не переступлю порог. Хартия, статья двенадцатая. И тело. Ты знаешь это лучше меня, кандидат. Ты на этом строил свои планы в декабре.

Лео посмотрел на Арне. Старик сидел на кровати неподвижно и смотрел на дверь одним глазом. Он медленно покачал головой.

— Я не приглашу вас, — сказал Лео.

— Я и не прошу. — Сабина помолчала. За дверью была тишина, только вода тёрлась о сваи. — Я прошу другого. Пригласи меня, кандидат. Или выйди.

Лео положил ладонь на дверь. Доски были холодные.

— Зачем?

— У меня письмо, — сказала Сабина Нокс. — От твоей сестры.

Глава 2. Порог

Лео открыл дверь.

Не широко. Ровно настолько, чтобы выйти. Холод ударил в лицо, ночной, апрельский, с запахом водорослей и соли. За дверью начинались мостки: широкие серые доски на сваях, мокрые от росы, тянулись вдоль всего домика и уходили к лодочному сараю. Над водой висел тонкий туман. Луны не было. Были звёзды, много, и на севере, низко над горами, слабая зелёная полоса сияния.

Лео переступил порог и закрыл за собой дверь.

Он слышал, как за ней Дариус втянул воздух сквозь зубы. Слышал, как Каспар сказал «Фальк» таким голосом, каким говорят «стой». Он не обернулся.

Сабина Нокс стояла в трёх шагах, у перил.

Она была такой же, как на приёме в ночь Последнего заката. Невысокая, прямая, в тёмном платье с высоким воротом, без украшений. Седые короткие волосы. Лицо деревенской учительницы, которая тридцать лет ставит двойки и ни разу не повысила голос. Только теперь поверх платья на ней было длинное чёрное пальто, а на руках тонкие кожаные перчатки. В левой руке она держала плоский картонный конверт.

Она посмотрела на него сверху вниз, хотя он был выше на голову.

— Ты вырос, кандидат, — сказала она.

— Я не вырос.

— Вырос. — Сабина чуть наклонила голову. — В Бастионе ты смотрел на руки. Сейчас ты смотришь в лицо. Это и есть рост. Остальное сантиметры.

Лео не ответил. Он стоял на мостках в футболке и спортивных штанах, босиком, и чувствовал, как холод от мокрых досок поднимается по ногам. Он чувствовал и другой холод, тот, что шёл от неё. Ровный, сухой, неподвижный. Как воздух в банковском хранилище.

— Как вы нас нашли?

— Херр Сольберг заказывает рыбий жир в аптеке в Лекнесе. Двенадцать упаковок в месяц. Раньше заказывал одну. — Сабина чуть пожала плечами. — Нокс владеет банками, кандидат. Банки видят деньги. Деньги видят всё. Не волнуйся. Кроме меня, этого никто не заметил. Пока.

— А Корвин?

— Корвин дала слово не искать. Ингрид держит слово. Она многое сделала за четыреста лет, но слово держит. — Сабина помолчала. — Нокс слова не давала.

* * *

Она протянула конверт.

Лео взял. Картон был холодный. На нём не было ничего: ни адреса, ни марки, ни имени. Только сзади, на клапане, вместо печати был оттиснут маленький знак. Круг. Закры-

тый, ровный, без начала и конца.

Он открыл конверт.

Внутри лежал лист плотной бумаги для акварели, сложенный вдвое. Лео развернул его, и руки у него стали неловкими, деревянными, как в мороз.

Он узнал её почерк раньше, чем рисунок.

Внизу, большими печатными буквами, старательно, как она писала на обложках всех выпусков: *ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ*. Рядом, в маленьком красном круге, восклицательный знак. Красным фломастером. Нажим такой, что бумага с обратной стороны выпуклая.

А над буквами башня.

Стеклянная, высокая, янтарная. С огнями в окнах. Лео посчитал этажи, не думая, по привычке, как всегда считал: сорок шесть. Под башней река, широкая, синяя, с кранами на дальнем берегу. Краны были нарисованы аккуратно, жёлтым, с длинными стрелами, как отцовский кран в порту. На реке маленький синий корабль. На палубе четверо.

Парень в плаще. Смотрит вперёд, на башню. Рядом худой, в рыбацкой робе, с серыми волосами и белыми светящимися глазами. Огромный, в свитере, с медным карабином за спиной. И маленькая, в капюшоне, с ноутбуком под мышкой.

Лео смотрел на четверых на палубе и не мог дышать.

Она не видела их вместе. Ни разу. Она видела Дариуса два года назад, весёлым, черноволосым, с битами в телефоне. Нин и Каспара она видела только по телевизору. Но она

нарисовала их. Всех. На одном корабле. И Дариус у неё был седой.

На сорок четвёртом этаже башни, в одном окне, стояла девочка в толстовке до колен. Смотрела на реку.

А на крыше, в самом углу листа, сидела маленькая тень. Чёрная. С тёмными глазами. Сложив руки на коленях.

Лео перевернул лист.

На обороте, в углу, карандашом, мелко, будто торопливо:

Капитан. Тут кормят. Мама как? Не лети. М.

* * *

Он долго стоял и держал лист. Туман над водой шевелился. Где-то в лодочном сарае скрипнула доска. Сабина ждала. Она умела ждать. Это у них было общее, у Вечных, а у Нокс особенно. Они стояли, как стоят камни.

— Это «Меридиан», — сказал наконец Лео.

— Это «Меридиан».

— Сорок четвёртый.

— Сорок четвёртый. — Сабина кивнула. — Северо-западная сторона, окна на порт и на Вильгельмсбург. Она сама выбрала комнату. Ей предложили три, она выбрала ту, из которой видно ваш дом. Вернее, не дом. Огни в той стороне. Она каждый вечер находит их. Считает.

— Ада сказала: Чёрный банк.

— Ада Корвин сказала то, что знала. В ту ночь девочку

действительно должны были везти на Карфакс, в хранилище. Так было решено в одиннадцать вечера. В половине второго Мадлен передумала. — Сабина помолчала. — Мадлен редко передумывает. Раз в сто лет. В этот раз передумала.

— Почему?

— Она сказала: «Девочке нужно окно».

Лео сложил лист. Аккуратно, по старому сгибу. Убрал в конверт.

— Её кормят, — сказал он. — Что ещё с ней делают?

Сабина посмотрела на него прямо. Тёмные глаза, усталые, очень серьёзные. Без зелёного отсвета: света на мостках не было, отражаться было нечему.

— Каждое утро, в семь, приходит медсестра. Берёт одну пробирку. Десять миллилитров. — Она сказала это ровно, без паузы. — Я не буду тебе врать, кандидат. Я вообще стараюсь не врать. Это дорого и утомительно. Её кровь берут. Немного. Ей не больно. Она сама протягивает руку. Она привыкла, говорит, у неё астма, её всю жизнь колют.

Лео смотрел на неё.

Десять миллилитров в день. Семьдесят в неделю. Двести восемьдесят в месяц. Он посчитал, не успев остановиться. Двести восемьдесят миллилитров в месяц у двенадцатилетней девочки весом тридцать восемь килограммов. Это было меньше, чем одна его донация. Это было бы ничего, если бы это было раз. Это было каждый день.

— Кто её пьёт? — сказал он.

— Никто, — сказала Сабина. — Её не пьют. Её изучают. Мадлен попробовала один раз, каплю. Больше никто не прикасался. Пробирки уходят в лабораторию на тридцать восьмом этаже и там… — Она чуть поморщилась. — Я не знаю, что там. Я не учёный. Я сторожевая собака.

* * *

— Что ей нужно? — спросил Лео.

— Мадлен?

— Мадлен.

Сабина помолчала. Отвернулась к воде. Сияние над горами медленно сползало вниз, бледнело.

— Я при ней триста двадцать пять лет, кандидат, — сказала она. — Она Продлила меня в Париже, в тысяча семьсот втором году, на улице Сен-Дени, в доме с синими ставнями. Я знаю, как она пьёт, как спит, как молчит. Я знаю её почерк. Я знаю, что она любит смотреть на воду и не любит колокола. Я не знаю, чего она хочет. Никто не знает. Ингрид думает, что знает. Северин думает, что знает. Они ошибаются уже триста лет, и она им ни разу не сказала.

— А что она сказала вам? Для меня?

Сабина повернулась к нему.

— Она сказала: «Передай мальчику, пусть приходит сам. Никто не умрёт».

Лео стоял на мокрых досках и ждал продолжения. Про-

должения не было.

— Всё?

— Всё. Она не говорит лишнего. — Сабина чуть улыбнулась одними губами. — Это её главное оружие. Люди сами дорисовывают то, что она не сказала. Обычно хуже, чем было бы.

— Почему вы не сдали нас? Два миллиона. За каждого. Нокс владеет банками, вы сами сказали.

— Нокс владеет третью мира, кандидат. Восемь миллионов евро Нокс не интересны. — Сабина посмотрела на домик. На тёмное окно, за которым, Лео знал, стояли все пятеро и слушали. — Мадлен не продаёт того, что хочет купить сама.

* * *

Он хотел сказать что-то резкое. Что его не купишь. Что Мию не купишь. Что он придёт не сам, а со всей Стаей, и разнесёт её стеклянную башню до сорок шестого этажа. Он открыл рот и понял, что ничего этого не скажет. Это было бы глупо. Сабина стояла перед ним, триста двадцать пять лет, и смотрела так, будто уже слышала всё, что он может сказать, от других мальчиков, в других веках.

— Скажите ей, что я приду, — сказал Лео. — Не один. И не так, как она хочет.

— Скажу. — Сабина кивнула. — Ей понравится. Ей нра-

вится, когда спорят. С ней давно никто не спорит.

Она повернулась, чтобы уйти. Потом остановилась.

— Ещё одно, кандидат. Не от неё. От меня.

Лео ждал.

— В ночь Равноденствия я посадила твою мать на катер и проводила до Будё. — Сабина говорила, глядя на воду. — Это было моё. Не её. Мадлен не приказывала. Я сделала сама, потому что ты не выпил, а я тебе сказала не пить. — Она помолчала. — А это, — она кивнула на конверт у него в руке, — её. Не путай. Если когда-нибудь будешь решать, кому из нас верить, помни, что это разные вещи.

— Почему вы мне помогаете?

Сабина обернулась. Впервые за весь разговор Лео увидел на её лице что-то похожее на чувство. Короткое. Она его сразу убрала.

— Я тебе не помогаю, — сказала она. — Я тебе ничего не должна, и ты мне ничего не должен. Я просто старая женщина, которая давно не видела, чтобы кто-нибудь не выпил. И ещё. Рут Майер тоже тебя ждёт. Ты знаешь, она звала. Там, где две женщины ждут одного мальчика, обычно кто-то умирает. Обычно не женщины.

Она шагнула к краю мостков. Туда, где у лодочного сарая стояли сушилки для трески, высокие деревянные рамы, пустые сейчас, в апреле, только кое-где на перекладинах висели забытые прошлогодние головы, высохшие, белые, с открытыми ртами. Под рамами лежала густая тень.

Сабина вошла в эту тень. И не вышла.

Лео стоял и смотрел на сушилки. Головы трески качались на ветру. Тень была пустая.

* * *

В домике никто не спал.

Они сидели на кухне вокруг стола, как на совете. Арне зажёг керосиновую лампу, потому что электричество в Рейне по ночам иногда отключали, и в жёлтом свете лица у всех были старше. Лео положил конверт на стол. Открыл. Развернул лист.

Никто ничего не сказал. Нин наклонилась над рисунком. Каспар встал за её спиной. Магда смотрела с другого края стола. Дариус стоял у двери, прислонившись к косяку, и белое в его глазах уже ушло, но не до конца, в уголках ещё что-то светилось.

— Это мы, — сказала Нин наконец. Очень тихо.

— Это мы, — сказал Лео.

— Она нарисовала мне ноутбук. — Нин потрогала край листа пальцем. — Правильный. Тринадцать дюймов. Даже наклейка с котом на крышке. Как она увидела наклейку? Её в эфире не было.

— Была, — сказал Каспар. — В аппаратной Белого театра. Когда ты выдёргивала шнур у Жюльена, камера взяла тебя сзади. Крупно. Три секунды. — Он помолчал. — Я пере-

сматривал.

Нин посмотрела на него. Ничего не сказала.

Дариус оттолкнулся от косяка и подошёл к столу. Посмотрел на рисунок. На худого, в рыбацкой робе, с серыми волосами и белыми глазами.

— Седой, — сказал он.

— Она видела тебя на трансляции, — сказал Лео. — На Белом театре. Во дворе бастиона.

— На трансляции я был чёрный. — Дариус смотрел на рисунок. — Седина пошла через неделю после.

Никто не ответил. Арне выпустил дым. Лампа шипела.

— Ладно, — сказал наконец Лео. — Ладно. Значит, так.

* * *

Он снял со стены свою карту. Морскую карту Арне, на обороте которой был нарисован Карфакс. Положил на стол рядом с рисунком. Взял ручку. Зачеркнул красный круг вокруг Чёрного банка. Перевернул карту лицевой стороной вниз, на чистый угол, и написал: *Гамбург. HafenCity. «Меридиан». 46 эт. Мия — 44, северо-запад.*

— Что мы знаем, — сказал он.

— Нижние этажи держит Tal, — сказал Каспар сразу. — Я там был. В четырнадцать лет, с отцом, на инспекции. Лобби, парковка, первые пять этажей, лифтовой холл. Охрана смертная, смены по двенадцать часов, двадцать четыре че-

ловека в смене. Камеры. Сканеры на входе. Выше пятого я не поднимался. Выше пятого Нокс.

— Что у Нокс?

— Тени. — Каспар пожал плечами. — Фрау ван Ален и её люди. В тень не выстрелишь. Отец говорил, если в здании Нокс гаснет свет, надо уходить, не думая.

— Системы, — сказала Нин. Она уже открыла ноутбук. — «Меридиан» не на «Мнемозине». Нокс никогда не пускал Корвин к своим серверам. У них своё. Банковское. Старое, тяжёлое, хорошо защищённое, как всё у банков. Отсюда я туда не попаду. Мне нужно быть рядом. В городе. В радиусе километра, лучше ближе.

— Значит, Гамбург.

— Значит, Гамбург.

— Гамбург, — сказал Арне, — это граница. Это паром, или самолёт, или машина через Данию. Это камеры на каждом вокзале и награда за ваши лица в каждом телефоне. — Он постучал трубкой о край стола. — Я старый, я не умею летать на самолётах и ездить по Дании. Я умею по морю. По морю я довезу вас до Бергена. Дальше нет.

— Дальше Стая, — сказал Дариус.

Все посмотрели на него.

— У Стаи есть дороги. — Дариус говорил тихо, глядя на рисунок. — Как у контрабандистов. Грузовики с рыбой. Рефрижераторы. Паромы, где у грузчиков свои люди. Квартиры. Подвалы. Я по ним ходил полтора года. Я знаю, как это

работает. — Он поднял глаза на Лео. — Только дороги не мои, брат. Дороги её.

Тишина.

— Матери, — сказал Лео.

— Матери. Каждая квартира, каждый грузовик, каждый грузчик в Хиртсхальсе. Всё через неё. Через «Пепел». Половина Хафенской стаи ушла с ней на Белом театре, а за ней пошла вся Европа. Я слышу. — Дариус помолчал. — Ты хочешь в Гамбург, ты идёшь к ней. Или ты берёшь у неё её дороги. Третьего нет.

— Есть, — сказала Магда.

Она до сих пор молчала, сидела на краю скамьи, обхватив колени. Теперь подняла голову.

— Пятнадцать, — сказала она. — Те, что остались с тобой на сцене. Они из Хафенской стаи. Они знают дороги не хуже Даниэля. — Она кивнула на Дариуса. — Хеннинг знает. Хеннинг восемь лет грузил контейнеры в Вальтерсхофе, пока не обратился. Он знает каждого грузчика на линии Берген — Гамбург. Если Хеннинг скажет «это мои», они будут твои.

— Хеннинг в Тромсё, — сказал Каспар.

— Хеннинг в Тромсё, — сказала Магда. — Под охраной норвежской полиции. С четырнадцатью другими. Они тебя ждут, Капитан. Они не звали. Но ждут. Я слышу их, когда тихо.

Лео посмотрел на Дариуса. Дариус смотрел на рисунок.

— Тромсё, — сказал Лео.

— Это на север, — сказал Арне. — Не на юг.

— Сначала на север. — Лео сложил рисунок и убрал его в конверт. Конверт положил во внутренний карман отцовской куртки, которая висела на гвозде у двери. — Сначала научиться. Я держал сердце стаи один раз, на сцене, не понимая, как. Если я пойду к ней не понимая, она меня съест. Мне нужно понять. Потом юг.

Дариус ничего не сказал. Он вернулся к двери и снова прислонился к косяку.

* * *

Под утро, когда все наконец легли, Лео сидел на мостках с телефоном Нин и смотрел Lumen. Без звука.

Ленту он листал медленно, не останавливаясь. Ада у перил террасы. Зелёные зрачки. Одиннадцать секунд. Он не стал пересматривать. Очереди у банков Nox Meridian, третья неделя. Пустые синие ящики на асфальте в Берлине. Мать Лизы Бреннер у плиты с новым пирогом, улыбается в камеру. Генерал Рольф Хейл на трибуне: *беспрецедентная угроза*. Каспар, если бы увидел, опять ушёл бы на мостки без куртки.

Потом лента остановилась сама.

Новое видео. Двенадцать минут назад. Сорок тысяч просмотров. Сто тысяч. Двести.

Голая бетонная стена. Тусклая лампа. Женщина в сером медсестринском халате, с повязкой на плече, сидит на табу-

рете. Лицо в тени, видна только нижняя половина: тонкие губы, острый подбородок. Голос ровный, усталый, без нажима.

Лео включил звук.

— Капитан, — сказала Мать в камеру. — Мы видели тебя на сцене. Мы видели, как ты держал наших. Ты не наш, говорят они. Ты держал наших лучше, чем держали своих они.

Пауза. Она чуть наклонилась вперёд, к камере, и свет упал ей на глаза. Серые. Человеческие. Очень спокойные.

— Город тебя помнит. На твоём доме написали, что ты вернёшься. Мы прочитали. — Ещё пауза. — Мы ждём тебя дома, Капитан. Дома всегда ждут.

Видео кончилось.

Лео сидел на мокрых досках и смотрел на чёрный экран. В нём отражалось бледнеющее небо над горами. Где-то за спиной в домике, за стенкой, кто-то перевернулся на кровати и долго не мог улечься.

Лео знал кто. Он слышал. Не ушами.

Тепло. Издалека. Тысяча километров на юг. Будто дома кто-то включил свет.

Глава 3. Перчатки

Бокал приносили в четыре утра.

Ада просыпалась за минуту до стука. Теперь она всегда просыпалась за минуту. Тело знало время точнее любых часов, точнее телефона, точнее «Мнемозины». Она открывала глаза в тёмной комнате на тридцать втором этаже Серебряной башни, смотрела в потолок и ждала. Ровно через шестьдесят секунд в дверь стучали дважды, коротко, и слуга в сером оставлял на столике у двери серебряный поднос. Высокий бокал. Тёмное. И маленькая карточка, сложенная пополам.

На карточке был код донора. Анонимный. Двенадцать знаков, буквы и цифры, и под ними возраст, город, дата. *VNTRO-0417-2283. 22 г. Тромсё. 14.04.2027.*

Ада не обязана была читать карточку. Ингрид не читала свои уже сто лет. Элиас, кажется, не читал никогда. Ада читала. Каждую ночь. И запоминала, хотя не хотела.

Она больше не могла не запоминать.

* * *

Это было первое, что она поняла на третью ночь, когда открыла глаза и увидела лицо матери. Тогда она ещё не знала, что это навсегда. Она лежала, держала маму за руку, и в го-

лове у неё было тихо и очень светло, как в комнате, где включили все лампы. Потом мама сказала *lille fugl*, и Ада поняла, что запомнит это. Не так, как запоминала раньше: «примерно», «кажется», «в тот вечер». Запомнит всё. Тембр. Хрипотцу на втором слоге. Шорох простыни. Отсвет сияния из-под шторы, зелёный, на левой скуле матери. Тиканье бронзовых часов: тик, пауза, тик, и пауза была на одну десятую секунды длиннее, чем должна быть, потому что у часов был износ в анкерном механизме.

Корвин помнит всё. Это было написано в каждом учебнике, в каждой брошюре Академии, в главе «Дары Домов». Круг первый: абсолютная память. Ада читала это сто раз. Она думала, что это похоже на очень хороший архив.

Это было похоже на комнату без дверей.

Она помнила лицо Конрада Тальмара в ту секунду, когда серое дошло до шеи. Помнила, как хрустнул под ногой осколок бокала в Белом театре, какого размера был осколок и куда он отлетел. Помнила вес матери на одеяле, когда Лео тянул её по стоку: тридцать девять килограммов. Помнила лицо Лео на скале. В шесть ноль одну, в тот момент, когда она посмотрела на него через плечо. Каждую ресницу. Каждую каплю воды на щеке. Как дёрнулся угол рта, будто он хотел что-то сказать и не сказал.

Она могла вызвать это лицо в любую секунду. Повернуть его, как фотографию. Увеличить. Оно никогда не тускнело.

Сначала она думала, что это подарок.

* * *

Ногти отросли за одну ночь.

Ада заметила это на четвёртую ночь, когда снимала перчатки перед сном. Она по привычке потянулась к большому пальцу, чтобы поддеть заусенец, и не нашла заусенца. Ногти были ровные, гладкие, розовые, с белыми полумесяцами у основания. Длинные. Такие, какие рисуют на рекламе лака. Двенадцать лет она обкусывала их до мяса и прятала под перчатками, и вот их не стало, этих обкусанных ногтей, за одну ночь, вместе со всем остальным.

Она смотрела на свои руки долго. Потом надела перчатки обратно. Спать в перчатках было неудобно. Она спала.

Таблетки она тоже больше не пила. Таблетки не действовали на Вечных. Паники тоже больше не было. Совсем. Ни разу за месяц. Там, где раньше начиналось — горячая волна от живота к горлу, стук в ушах, пальцы, которые не слушаются, — теперь было ровно и тихо. Сердце билось медленно, двенадцать ударов в минуту, и ничто не могло его ускорить.

Ада не знала, рада ли она этому. Она скучала по панике. Это было глупо. Паника была её. Как ногти.

* * *

Мама сидела у окна.

Она сидела там каждую ночь, в кресле, которое Ада придвинула к стеклу в первую же неделю. Окно в её комнате выходило на фьорд. Днём шторы закрывали автоматически, но ночью мама поднимала их и сидела, глядя на воду, на горы на той стороне, на сияние, если было сияние. Светлая коса на плече. Серое платье, которое ей принесли из гардеробной Корвин, простое, без вышивки, потому что мама сама попросила самое простое. Босые ноги на ковре. Тапочки стояли рядом. Мама их не надевала.

— *Hej*, — сказала Ада, входя.

— *Hej, lille fugl.*

Мама говорила по-датски. Только по-датски. Шведский она понимала, немецкий, кажется, тоже, но отвечала всегда на своём. Ада сначала не могла: из её памяти датский вырезали в две тысячи пятнадцатом году, вместе с кухней, котом и голосом отца. Осталось несколько слов. *Mor. Lille fugl. Jeg er her.* Теперь, после Продления, с даром, который ничего не отпускал, язык возвращался быстро, кусками, как вода через трещину в плотине. Мама говорила фразу. Ада запоминала. Навсегда. За месяц она понимала почти всё и почти всё могла сказать. Медленно, с ошибками в окончаниях, с шведским выговором, над которым мама улыбалась.

Ада села на пол у кресла, спиной к батарее. Тепла от неё она не чувствовала. Привычка.

— Ты пила? — спросила она.

Мама не ответила. На столике у кресла стоял поднос. Бокал на нём был полный.

— Мама.

— Я не хочу.

— Я знаю. — Ада смотрела на бокал. — Я тоже не хочу. Каждую ночь. Это не значит, что можно не пить.

— Кто она? — сказала мама. Не глядя на бокал. Глядя на фьорд.

Ада взяла карточку с подноса, не разворачивая. Она знала, что там. Слуга приносил подносы обеим одновременно, и Ада запоминала обе карточки, свою и мамину, каждую ночь, хотя никто её не просил.

— Мужчина, двадцать четыре года, Будё. Сдал позавчера.

— За деньги?

— За деньги. Vein. Четыреста евро.

Мама долго молчала. Сияние над горами было слабое, бледное, как будто кто-то забыл его выключить.

— Одиннадцать лет, — сказала она. — Одиннадцать лет у меня брали. Не спрашивали. Теперь я должна брать у других. Тоже не спрашивая. Потому что иначе умру. — Она повернула голову. — Это какое-то наказание, Ада? Я не понимаю, за что.

— Это не наказание. Это просто так устроено.

— Кем?

Ада не ответила. Она встала, взяла с подноса бокал и протянула матери. Мама посмотрела на него. Потом на Аду. Потом взяла, и выпила, медленно, закрыв глаза, как пьют горькое лекарство. Поставила пустой бокал. Вытерла губы тыльной стороной ладони, как девочка.

— Ты попросила, — сказала мама. — Я пью, когда ты просишь. Только когда ты.

— Я знаю.

— Это нечестно. Тебе тяжело просить.

— Мне не тяжело, — сказала Ада. И это была правда. Паники больше не было. Ничего не было тяжело. Всё было ровно, светло и навсегда.

* * *

На второй неделе мама спросила про отца.

Она спросила вечером, сразу после заката, когда тело ещё было вязким от дневного сна. Просто: «Где Томас?» Ада сидела на полу у её кресла. Она знала этот вопрос заранее. Она готовила ответ четырнадцать ночей, переставляла слова, выбирала, с какого начать.

— Его нет, — сказала она. — С двадцатого года. В капсуле. Сердце.

Мама кивнула. Не удивилась. Ни на секунду.

— Я знала, — сказала она. — Там было… — Она подняла

руку и пошевелила пальцами в воздухе, как будто трогала воду. — Там было тепло. Всё время. Как будто рядом кто-то лежит. А потом стало холодно с одного бока. Я не знала, что это. Теперь знаю.

Больше она про отца не спрашивала. Только той ночью, под утро, когда Ада уже уходила к себе, мама тихо, почти беззвучно, запела. Ада остановилась в дверях. Слов было не разобрать. Мелодию она знала. Она знала её одиннадцать лет без слов, она перекрикнула ею голос Жюльена Аргента в Белом театре, и вот теперь, впервые, она слышала, как её поёт тот, кто её сочинил.

Она стояла в дверях и запоминала.

* * *

Ингрид она видела редко.

Ингрид спускалась из своих покоев на тридцать шестом этаже раз в несколько ночей. Медленно, по лестнице, держась за перила, потому что в лифте ей становилось плохо. Шла по галереям Серебряной башни, кивала смертным служащим, останавливалась у окон. В перчатках. Всегда в перчатках, длинных, серых, до локтя. Ада раньше думала, что Ингрид носит их из старомодной элегантности. Теперь знала зачем. И знала, что под ними сейчас хуже, чем было в декабре.

Выглядела Ингрид на пятьдесят пять. В сентябре выгля-

дела на сорок.

Корвин Дата упала на бирже на шестьдесят процентов. Ада видела графики. Конклав, четверо из пяти, выпустил заявление, в котором Корвин были виноваты во всём, «отдельный Дом без ведома остальных», и Ада, у которой теперь была память, помнила мужчину на балу Долгой ночи, который пил из бокала с номером. Освальд Аргент, обращённый в тысяча четыреста девяностом, который на её десятый день рождения учил её шахматам. Он выпил и помолодел у неё на глазах. Себастьян Аргент подписал заявление в числе четверых.

— Они правы, — сказала Ингрид, когда Ада однажды упомянула об этом. Они стояли на галерее над фьордом. — Это была моя программа. С две тысячи восемнадцатого. Мои капсулы. Моя «Мнемозина». Я придумала, я построила. Они пили, но придумала я. — Она смотрела на воду. — Это справедливо, птенчик. Ничего страшного. В тысяча шестьсот сорок восьмом году меня тоже хотели сделать виноватой. Тогда были костры. Сейчас слушания. Прогресс.

Ада промолчала.

Ингрид не говорила ей «Ада». Только «птенчик». Как раньше. Как будто ничего не случилось. Ада не поправляла. Она поняла, что Ингрид это нужно. Что если Ингрид назовёт её по имени, по настоящему имени, по тому, что написано у неё на запястье, ей придётся признать, что всё изменилось. Ингрид было четыреста шестнадцать лет. Она устала

признавать.

* * *

Доступ к «Мнемозине» у Ады был уровня Наследницы.

Ингрид дала его в первую же неделю. Просто сказала за ужином, за которым никто, кроме Элиаса, ничего не ел, потому что Элиас иногда ел смертную еду для вида: «Твой код теперь золотой. Смотри что хочешь». И больше ничего. Ада не знала, проверка это или подарок. Она решила, что и то и другое.

Она искала Мию шестнадцать ночей.

Это было трудно. «Мнемозина» не была библиотекой. Она была океаном, и в нём не было полок. Миллиарды записей: кровь, рейтинги, лица, перемещения, покупки, переписка, всё, что за восемнадцать лет мир отдал Корвин, сам, добровольно, ставя галочку под «я согласен с условиями». Чтобы найти в этом океане девочку двенадцати лет, нужно было знать, о чём спрашивать.

Ада знала имя. Знала дату рождения: Лео говорил, что Мия родилась в сентябре, через неделю после его дня рождения, шесть лет спустя. Знала место: Гамбург, Вильгельмсбург, «Блок 9». Ада ввела всё. «Мнемозина» показала ей Мию.

Школьная фотография, позапрошлый год: тёмная чёлка, слишком большая толстовка, взгляд исподлобья. Меди-

цинская карта: астма, хроническая, умеренная; три госпитализации; рецепты на ингалятор, цена росла каждый квартал. Кровный рейтинг: *не оценивалась (несовершеннолетняя)*. Последнее местоположение телефона: Белый театр, Карфакс, 20.03.2027, 22:47. Дальше ничего. Телефон выключен.

Ада сидела в своей комнате за столом у окна, перед экраном, и смотрела на это «дальше ничего».

Потом она вспомнила, что Корвин видит не только телефоны.

* * *

Запрос был в межДомовой переписке. Ада нашла его на семнадцатую ночь, под утро.

Переписка между Домами шла по отдельному каналу, через «Мнемозину», потому что другого защищённого канала у Конклава не было, и это была старая обида Нокс, Вея и всех остальных. Корвин видел всё. Остальные знали это и писали коротко.

26.03.2027. Корвин → Нокс. Леди Корвин просит Мадам Нокс о передаче пробы крови (10 мл) несовершеннолетней Ф., находящейся под опекой Дома Нокс, для исследований. Условия по договорённости.

26.03.2027. Нокс → Корвин. Не для продажи. М.

Ниже, приложением к ответу, был служебный файл Нокс,

который «Мнемозина», как всегда, тихо прочитала, хотя никто её не просил. Ада открыла его.

Ф., Мия. 12 л. Размещение: Гамбург, Meridian, уровень 44, северо-запад. Режим: гостевой. Проба: ежедн., 07:00, 10 мл, лаб. 38. Опека: И. ван Ален.

Ада прочитала это один раз. Больше ей было не нужно.

Гамбург. Не Карфакс.

Она сказала Лео «Чёрный банк». На скале, в шесть утра, за минуту до того, как выпить. Она сказала ему: *Мию увели в Чёрный банк. Ты её не найдёшь снаружи. Я найду изнутри*. Она сказала это твёрдо, как говорят то, что знают. Она верила в это. Она слышала это от Элиаса, а Элиас слышал от Нокс в одиннадцать вечера, а в половине второго Нокс передумала.

Лео месяц думает, что его сестра на Карфаксе. В скале. В хранилище. Куда нельзя попасть.

Ада сидела перед экраном и ждала паники. Горячей волны. Стука в ушах. Пальцев, которые не слушаются. Ничего не пришло. Сердце билось двенадцать раз в минуту. Ровно. Медленно. Навсегда.

Она сняла перчатку с правой руки и посмотрела на свои пальцы. Ровные, гладкие ногти с белыми полумесяцами.

Она очень хотела их обкусать.

* * *

Элиас был в библиотеке.

Он всегда был в библиотеке под утро, в последний час перед рассветом, в кресле у камина, с книгой, которую не читал. Ада теперь понимала, почему. Корвин не нужно было читать книгу дважды. Он просто держал её в руках. Наверное, это было похоже на то, как другие держат руку близкого человека.

Серое на его левой руке за месяц не сдвинулось. Ада проверяла. Граница у локтя стояла на месте, неровная, как береговая линия. Он не говорил, болит ли. Она не спрашивала.

— Мадлен Нокс, — сказала Ада, садясь в кресло напротив.

Элиас поднял глаза от книги.

— Что вы о ней знаете?

— То же, что все. — Элиас закрыл книгу. — Тысяча триста сорок восьмой. Авиньон. Монахиня. Самая старая из тех, кто ходит по земле. Глава Нокс с… — Он чуть помедлил. — Я не знаю, с какого года. Ингрид говорит, Мадлен была главой Нокс всегда. Ещё до того, как Нокс назывался Нокс.

— Её дар?

— Тень. Круг четвёртый. Уводит в тень другого. Но это не главное. — Элиас помолчал. — Ингрид однажды сказала мне, давно, в Стокгольме: «Тень — это её Дом. Её дар

— ожидание». Я спросил, что это значит. Ингрид сказала: «Мадлен однажды ждала сто сорок лет, чтобы человек, который её обидел, умер от старости. Не тронула его. Просто ждала. А потом пришла на похороны и стояла у гроба до утра». — Он посмотрел в огонь. — Ингрид её боится. Единственную из всех.

Ада молчала.

— Девочка в Гамбурге, — сказал Элиас. Не вопрос.

— Вы знали.

— Узнал сегодня. Когда вы открыли файл. — Он чуть пожал плечами. — Я вижу ваши запросы, Ада. Я читаю «Мнемозину» с её первого дня. Я вижу, когда в ней кто-то ходит.

— Ингрид тоже видит?

— Ингрид сейчас мало что видит. — Элиас сказал это ровно. Как прогноз погоды. — Но может. Если захочет.

* * *

— Корвин дала слово, — сказала Ада. — Не искать беглецов.

— Дала.

— Слово запрещает искать. Преследовать. Оно не запрещает говорить.

Элиас смотрел на неё. Долго. Не моргая. Как всегда.

— Слова тоже следы, — сказал он. — «Мнемозина» видит всё, что идёт через неё. А через неё идёт всё.

— Не всё. — Ада наклонилась вперёд. — Есть место, куда «Мнемозина» не смотрит. Потому что оно её собственное. Она туда пишет, но не читает. Служебные поля. Комментарии калибровщиков к рейтингам. Их пишут тысячи людей в день, и никто никогда не перечитывает. Нин мне показывала. В декабре. Она так нашла мою… — Ада запнулась. — Мою серую строчку.

— И?

— И Нин Чжоу раз в неделю проверяет свою собственную запись. Свой рейтинг. Свой чёрный список. С пятнадцати лет. Она сама говорила, ей смешно смотреть, как «Мнемозина» её ненавидит. Она не может не проверять. Это как с ногтями.

Элиас ничего не сказал. Огонь в камине треснул.

— Если в поле калибровки у её записи появится комментарий, — сказала Ада, — его увидит только она. И ещё вы. Потому что вы видите всё.

— И что будет в комментарии?

— Дверь.

Элиас долго смотрел на неё. Потом медленно, очень медленно, открыл книгу на коленях. На той же странице, на какой закрыл.

— Я ничего не слышал, — сказал он. — Мне сто пятьдесят лет, Ада. Я многое не слышу.

* * *

Она писала комментарий до самого рассвета.

Поле калибровки было маленьким: двести знаков. Латиница, цифры, служебные символы. Ада писала, стирала, писала снова. Она не могла написать прямо. Она не могла написать «Меридиан» или «Гамбург» или «Мия». «Мнемозина» не читала эти поля, но искала в них ключевые слова, если кто-то заводил поиск, и однажды кто-то заведёт.

В конце концов она написала одну строчку. Похожую на служебный код. На ошибку, которую оставил усталый калибровщик в три часа ночи.

recal_note: lille_fugl // key=det_i_hojre // tmp_ref:/arch/c/nb/0417

Det i højre. «То, что в правой». По-датски, без пробелов, без диакритики, как пишут коды. Ключом было не это. Ключом было то, что лежало у неё в подкладке правой перчатки, сложенное до размера почтовой марки, с января: *Sov nu, min lille fugl. Jeg er her.* Две строчки. Что в правой, знали двое на свете: Ада и Лео. Нин этого не знала. Но Нин знала, что Ада знает, и знала, что Лео знает. Нин сообразит. Нин всегда соображала.

А по адресу *arch/c/nb/0417*, в служебной папке архива, куда «Мнемозина» сбрасывала битые файлы и никогда в них не заглядывала, лежал один битый файл. Совсем маленький.

Три строчки, зашифрованные этим ключом.

Не Чёрный банк. Гамбург. «Меридиан», 44, северо-запад. Каждое утро в семь берут 10 мл. Опека: ван Ален. Прости. А.

Она сохранила. Закрыла. Сидела и смотрела, как за окном медленно светлеет небо над горами. Через двадцать минут закроются шторы. Через полчаса тело потянет в сон.

Она не знала, когда Нин проверит свою запись. Через день. Через неделю. Она не знала, где Нин. Она не знала, где Лео. Она знала только, что он месяц ищет сестру не там, где надо, потому что она ему так сказала.

* * *

Ингрид ждала её в коридоре.

Ада не услышала, как она подошла. Теперь она слышала почти всё: шаги на три этажа вниз, гул лифтовых тросов, дыхание слуг за стенами. Ингрид она не услышала. Ингрид стояла у окна в конце коридора, в полосе бледного рассветного света, и это было неправильно, это было почти рассвет, Вечным в это время положено быть в дневных покоях. Ингрид стояла у стекла. Стекло было фильтрованное, янтарное, но всё равно.

— Птенчик, — сказала Ингрид.

— Вам нужно лечь.

— Лягу. — Ингрид не обернулась. Она смотрела на

фьорд, на бледное небо, на острую вершину горы, из-за которой через полчаса покажется солнце. — Сегодня звонил Себастьян.

Ада остановилась.

— Аргент делает открытие Пятнадцатого Сезона, — сказала Ингрид. — Двадцать второго сентября. Как всегда. Только теперь «реформированное». Прозрачность. Камеры в каждом коридоре. Независимые наблюдатели. Никаких закрытых дверей. — Она чуть улыбнулась. Губы у неё были сухие, в трещинах. — Себастьяну нужно лицо. Лицо, которому поверят два миллиарда. Ему нужна девушка, которая перекричала его брата в прямом эфире и которая встала. Он просит, чтобы Пробу вела ты.

Ада стояла в коридоре. За окном светлело.

— Он просит Корвин, — сказала она. — Не меня.

— Он просит тебя. Корвин сейчас никто не просит. — Ингрид наконец обернулась. В рассветном свете её лицо было старым. Не пятьдесят пять. Больше. Морщины у рта, сухая кожа на скулах. Глаза те же. Стальные. — Ты согласишься.

Это было не вопрос.

Ада смотрела на неё. Она помнила это лицо в сентябре, в Стокгольме, у машины: сорок лет, фарфор, ни одной морщины. Она помнила его каждую ночь с тех пор. Она будет помнить его вечно, это и то. Каждую морщину.

Пятнадцатый Сезон. Карфакс. Белый театр. Сто новых кандидатов. Двадцать стипендиатов из лотереи, которую уже

не нужно подстраивать, потому что Источников больше нет. Наверное, нет. Камеры в каждом коридоре. Конклав. Все пять Домов на одном острове. Нокс. Мадлен.

Изнутри, подумала она. Я сказала ему: изнутри.

— Да, — сказала Ада.

Глава 4. Тромсё

«Тове» шёл на север двадцать один час.

Арне вёл его вдоль берега, через проливы, мимо островов, у которых не было названий на карте Лео, только на карте Арне, карандашом, мелко, по-норвежски. Вестеролен. Андёйа. Длинные серые острова, голые, с редкими красными домиками у воды. Чайки. Ветер с запада, ровный, холодный, пахнущий снегом, хотя было уже пятое мая.

Нин и Каспар остались в Рейне. Нин сказала, что спутниковая тарелка Арне — единственное место на тысячу километров, откуда она может работать, и что если она уйдёт в море на трое суток, то потеряет всё, что нашла. Что именно она нашла, она не сказала. Каспар остался, потому что Нин осталась. Этого он тоже не сказал.

Лео стоял у борта и смотрел, как острова уходят назад. Магда сидела в рубке рядом с Арне и училась держать штурвал. Дариус лежал на носу на свёрнутых сетях, на спине, с закрытыми глазами, и солнце светило ему в лицо.

Он лежал так почти весь день. Лео подходил дважды. Оба раза Дариус открывал глаза, говорил «Всё нормально, брат», и закрывал снова.

Всё было ненормально. Лео чувствовал это без всякого Воя. Каждую милю, которую «Тове» проходил на север, Дариус как будто становился тише. Будто кто-то медленно по-

ворачивал в нём ручку громкости. А на юге, за тысячу с лишним километров, Лео чувствовал то, что тянуло Дариуса туда.

Тёплый свет в чужом окне.

* * *

В Тромсё пришли в одиннадцать вечера.

Город стоял на острове посреди пролива, соединённый с берегом длинным мостом, высоким, на бетонных ногах. Мост был освещён. Город за ним тоже. Лео ожидал увидеть деревню, как Рейне, а увидел город: дома в несколько этажей, улицы, огни, белый треугольный собор на том берегу, похожий на сложенную из льдин палатку. Солнце только что село. Небо на севере было светло-зелёным, на юге тёмно-синим, и казалось, что ночь здесь не наступит вообще, а только будет приходить и уходить, как прилив.

Арне провёл «Тове» мимо пассажирского причала, мимо рыбного порта, к северной оконечности острова, где у воды стояли старые склады и бетонный корпус бывшего рыбзавода с выбитыми буквами на фасаде. На причале у корпуса горели прожекторы. Стояли две полицейские машины, белые с синей и жёлтой полосой. Стояли люди с камерами, человек двадцать, за металлическим барьером.

— Журналисты, — сказал Арне. — Месяц стоят. Каждый день. Им нечего снимать, а они стоят.

— Нас увидят.

— Вас и так увидят. — Арне сбросил ход. — Вы зачем приехали, парень? Прятаться?

Лео посмотрел на причал. На прожекторы. На камеры.

— Нет, — сказал он.

— Тогда стой на палубе и не опускай голову, — сказал Арне.

* * *

Их встретила женщина в полицейской форме.

Невысокая, широкая в плечах, лет пятидесяти пяти, в тёмно-синей куртке с нашивкой *POLITI* на груди и в вязаной шапке, совершенно не полицейской, ярко-красной. Лицо обветренное, нос в веснушках. Она стояла у края причала, расставив ноги, руки в карманах, и смотрела, как «Тове» швартуется. Когда Лео спрыгнул на бетон, она не сдвинулась с места.

— Лео Фальк, — сказала она по-английски. Медленно, отчётливо, как говорят люди, для которых английский рабочий, а не родной.

— Да.

— Инспектор Сигрид Ольсен. Полиция Тромсё. — Она не протянула руку. — Вас разыскивает Конклав Домов. Вознаграждение два миллиона евро. Норвегия не участник соглашения об экстрадиции по статье тридцать девятой. Норвегия

вообще ни в чём не участник, если её не спросили. — Она смотрела на него. — Меня никто не спрашивал. Значит, вы на моём причале, а не в розыске. Пока.

За барьером защёлкали камеры. Кто-то крикнул его имя. Потом ещё кто-то. Лео не опустил голову.

— Пока — это сколько? — сказал он.

Ольсен чуть прищурилась.

— Пока Осло не передумает. — Она кивнула на корпус рыбзавода за спиной. — Они там. Четырнадцать. Ждут вас третий день. С тех пор как старик позвонил моему начальнику и сказал, что вы идёте. — Она посмотрела на Дариуса, который спрыгнул на причал следом за Лео. Долго. На седую прядь. На глаза, сейчас обычные, тёмные. — А этот?

— Мой друг.

— Ваш друг тоже в розыске, — сказала Ольсен. — И ваш друг тоже бешеный. Я видела трансляцию. Я двадцать восемь лет в полиции, мистер Фальк. Я видела, как в девяносто девятом, в мой первый год, китобой разрубил жену топором, потому что она выбросила его сигареты. Я видела, как три подростка утопили собаку в проливе ради видео. — Она помолчала. — Я никогда не видела, чтобы звери выносили людей на руках. Я не знаю, что это было. Я хочу знать.

Она развернулась и пошла к корпусу. Через плечо сказала:

— Внутри у меня шесть человек. Они не стреляют, пока я не скажу. Я не скажу, пока никто не начнёт. Не начинайте.

* * *

Общежитие рыбзавода было на втором и третьем этажах корпуса. Длинный коридор с линолеумом. Двери комнат. Общая кухня в конце коридора, с длинным столом, электрическими плитами и окном на пролив. На столе стояли кастрюли, кружки, пачки печенья. Пахло кофе, рыбой и мокрой шерстью.

Они сидели на кухне.

Все четырнадцать. Лео их узнал, и не узнал. На сцене Белого театра, в ночь Равноденствия, он видел их зверями: пепельными, худыми, высокими в холке, с белыми глазами. Во дворе северного бастиона, на рассвете, он видел их краем глаза, через Вой, когда они клали на камни людей в белых простынях. Сейчас за столом сидели люди. Обычные. Молодые, но с не своими лицами, как у Магды в первые дни. Серые волосы у половины. Мешки под глазами. Мужчина у окна выглядел на пятьдесят, широкий, с огромными руками, похожими на лопаты. Девушка рядом с ним выглядела на сорок и вязала что-то серое. Парень у плиты, с короткими кудрями, выглядел на тридцать и жарил яйца.

Когда Лео вошёл, все замолчали.

Он почувствовал их раньше, чем увидел лица. Тепло. Четырнадцать отдельных огоньков, тихих, усталых, как угли в печке, когда огонь уже ушёл, а жар ещё держится. Огоньки

повернулись к нему. Все разом. Как подсолнухи.

Мужчина у окна встал. Медленно. Стул под ним скрипнул.

— Капитан, — сказал он. Голос низкий, хриплый, с гамбургским выговором, как у херра Петерсена с первого этажа. — Хеннинг Брах. Вальтерсхоф, терминал Eurogate, восемь лет на кране. — Он протянул руку. Огромную, тёплую, сухую. — Я тебя слушал на сцене. Ты меня, наверное, не помнишь.

— Помню, — сказал Лео. Он не помнил лица. Он помнил огонёк. Тяжёлый, медленный, почти спокойный. Самый первый из пятнадцати, который повернулся к нему, когда он замедлил Магду.

Хеннинг кивнул. Будто так и думал.

— Садись, — сказал он. — Юсуф, дай ему яиц.

* * *

Они говорили до трёх ночи.

Не о плане. Лео хотел о плане, о дорогах, о грузовиках, о Гамбурге. Хеннинг слушал, кивал и говорил: «Потом». А потом рассказывал о другом. О том, как их держали в спортзале Бастиона после рассвета, три дня, под камерами, и никто не знал, что с ними делать. О том, как норвежская полиция приехала на четвёртый день и вывела их по одному, в наручниках, а потом, на причале, Ольсен сама сняла с каж-

дого наручники и сказала: «Это для камер Tal. Теперь всё». О том, как живут здесь: еду привозит полиция, деньги собирают люди в интернете, на счёт, который открыла какая-то норвежская студентка; журналисты стоят у барьера и спрашивают одно и то же: «Вы опасны?»

— И что вы отвечаете? — спросил Лео.

— Да, — сказал Юсуф от плиты. Он был турок, из Харбурга, двадцать лет, выглядел на тридцать. — Мы отвечаем «да». Мы опасны. Мы же бешеные. Что ещё ответить?

— Это правда?

Юсуф пожал плечами.

— Месяц ни одного превращения, — сказал Хеннинг. — Ни у кого. После Белого театра. Будто кто-то воду в кастрюле убавил. Кипит, но не выплёскивается. — Он посмотрел на Лео. — Это ты. Ты что-то сделал, тогда. С сердцем. Оно до сих пор так.

— Я не знаю, что я сделал.

— Мы тоже не знаем, — сказала девушка с вязанием. Её звали Бенте, она была датчанка из Оденсе, двадцать три года, выглядела на сорок. — Поэтому ты и приехал. Магда сказала. Учиться.

Лео посмотрел на Магду. Магда сидела рядом с Бенте и пила кофе из огромной кружки с оленями.

— Учиться, — сказал он.

* * *

Учили его на причале, на следующую ночь.

Солнце село в двадцать два сорок и почти сразу начало вставать: небо на севере не темнело, только переходило из бледно-зелёного в бледно-розовое. Ольсен разрешила им выйти из корпуса на дальний конец причала, где не было журналистов. Её люди стояли у корпуса, в двухстах метрах. Не смотрели. Делали вид, что не смотрят.

Магда села на край причала, свесив ноги над водой. Лео сел рядом. Хеннинг сел с другой стороны. Остальные встали полукругом за ними, молча. Дариус стоял дальше всех, у швартовой тумбы, скрестив руки на груди.

— Ты слышишь нас, — сказала Магда. — Я знаю. Всегда слышишь. Как радио в соседней квартире.

— Слышу.

— Это не Вой. Это просто шум. Вой — это когда ты входишь. — Магда смотрела на воду. Вода в проливе была чёрная, гладкая, с длинными бледными отсветами неба. — Я не умею объяснять. Я Даниэлю объясняла на Карфаксе, в цеху, ничего не вышло. Он сам потом. Сам упал.

— Как упал?

— Его ударили. Тальмар. Он разозлился. И упал в Вой. Как в воду с мостков. — Она пожала плечами. — Так у всех. Злишься и падаешь. А ты не злишься. Ты держишь. Ты на

сцене держал, а не падал. Поэтому я не знаю, как тебе объяснить.

— Попробуй.

Магда долго молчала. Потом сказала:

— Ты море слушал когда-нибудь? Не смотрел. Слушал. Ночью. Когда лежишь на берегу, и ничего не видно, и есть только звук. И сначала это просто шум. Потом ты различаешь. Вот эта волна большая. Эта маленькая. Вот камни стучат. Вот где-то далеко лодка. — Она закрыла глаза. — А потом ты перестаёшь различать. И это уже не ты слушаешь море. Это море слушает тебя.

Лео смотрел на чёрную воду.

— В Гамбурге нет моря, — сказал он. — Есть Эльба.

— Эльба тоже вода, — сказал Хеннинг. — Слушай Эльбу.

* * *

Он слушал.

Сначала было как всегда. Четырнадцать огоньков за спиной. Тёплые, тихие, каждый свой. Хеннинг тяжёлый и медленный. Бенте колючая, нервная, как шерсть, которую не довязали. Юсуф быстрый, смешливый, с обидой где-то глубоко, как камешек в ботинке. Магда рядом, ровная, усталая, как зола. Дариус у тумбы. Его огонёк Лео знал лучше своего. Горячий, неспокойный, всё время повёрнутый куда-то не туда.

Лео закрыл глаза. Вспомнил Эльбу. Старый Эльбский тоннель на рассвете, кафельные стены, гул от велосипедных шин. Шум воды над головой, которого не слышно, но который всегда есть, двадцать четыре метра камня и воды над тобой. Отцовский кран над причалом, и как отец говорил, что вода в порту ночью звучит по-другому, ниже, потому что спят корабли.

Он перестал различать огоньки.

Не сразу. Как засыпают. Огоньки слились, стали одним. Тёплым, тихим, медленным. И это тёплое было не вокруг него, а он был в нём. Он был в нём, как рыба в воде. Он слышал, как Хеннинг дышит. Не ушами. Как Бенте считает петли. Как у Юсуфа чешется заживающий порез на костяшке. Он слышал, что все они устали. Что у всех болит что-то старое, ноет, как кость на погоду. Что все они боятся. Тихо, привычно, не думая об этом, как боятся люди, которые давно живут с этим страхом. Боятся себя.

И он слышал своё сердце. Посреди них. Медленное.

Оно стучало, и огоньки, все четырнадцать, все один, подстраивались под него. Не потому, что он заставлял. Потому что им так было легче. Как легче идти в ногу, когда кто-то рядом идёт ровно.

Медленнее.

Он не сказал это. Он подумал. И тёплое вокруг вздохнуло. Все разом. Как вздыхают люди, которые долго стояли и наконец сели.

Лео услышал, как за спиной кто-то тихо заплакал. Бенте, кажется. Он не открыл глаза.

* * *

А потом он услышал юг.

Он не искал. Оно пришло само, как приходит звук из соседней квартиры, когда в твоей наконец стало тихо. Далеко. Очень далеко. За морем, за горами, за всей длинной Норвегией и всей плоской Данией. Там.

Там было не тепло. Там было жарко.

Сотни огоньков. Лео не мог сосчитать. Он попробовал, по привычке, и не смог: они не были отдельными. Они горели одним костром, большим, ревущим, и у костра был центр. Горячий, белый, ровный, очень спокойный. Как у сварочной горелки. Пламя вокруг него рвалось и металось, а он не двигался. Он держал костёр. Он его кормил.

Мать.

Лео почувствовал, как она его заметила.

Не увидела. Не услышала. Заметила. Как замечаешь, что на тебя смотрят из окна напротив. Белый центр костра на мгновение повернулся к нему. И в этом повороте не было угрозы. В нём было что-то хуже угрозы.

Узнавание. *А, вот ты где.* Будто мать заглянула в детскую проверить, спит ли ребёнок. И увидела, что спит. И тихо прикрыла дверь.

Лео открыл глаза.

Он сидел на краю причала, над чёрной водой. Небо на севере было уже розовое. Магда держала его за руку, крепко, обеими ладонями. Хеннинг сидел рядом, огромный, неподвижный, и смотрел на него.

— Ты её слышал, — сказал Хеннинг.

— Да.

— Она тебя тоже.

— Да.

Хеннинг кивнул. Медленно.

— Это ничего, — сказал он. — Она нас всех слышит. Каждую ночь. Мы привыкли.

Лео обернулся.

Дариус стоял у швартовой тумбы. Руки опущены. Лицо обращено на юг. Глаза у него были белые, до самых краёв, без единой чёрной точки, и с волос на виске, с седой пряди, сыпались искры, мелкие, частые, как от бенгальского огня. Он стоял неподвижно. Он не превращался. Он просто стоял и смотрел на юг, туда, где за тысячей километров кто-то включил свет.

Лео встал. Подошёл. Взял его за плечо.

Плечо было горячее, как печка.

— Брат, — сказал Лео.

Дариус не повернул головы.

— Она позвала, — сказал он тихо. — Меня. По имени. Не Даниэль. Дариус. Как мама звала. Тысяча двести кило-

метров, брат. Как она это делает?

Лео не знал. Он стоял, держа Дариуса за горячее плечо, и чувствовал своё сердце. Медленное. Он толкнул его. Не словами. Через ладонь, через Вой, через то тёплое, что ещё держалось после причала.

Белое в глазах Дариуса дрогнуло. Медленно, по краям, начало отступать. Искры на виске гасли одна за другой.

Дариус закрыл глаза. Открыл. Тёмные. Свои.

— Спасибо, — сказал он. И отвернулся.

* * *

Ольсен ждала их у корпуса. Стояла, привалившись к полицейской машине, в своей красной шапке, и курила. Когда они подошли, бросила сигарету и затоптала.

— Мне звонили из Осло, — сказала она Лео. — Час назад. Министр юстиции. Лично. Сказал, что Конклав предлагает Норвегии отсрочку по выплатам вечной ипотеки на два года для всех граждан. Для всех, мистер Фальк. Полтора миллиона семей. Если Норвегия пересмотрит позицию по статье тридцать девятой.

Лео молчал.

— Министр спросил, что я думаю. — Ольсен посмотрела на небо. Розовое, светлеющее. — Я сказала, что я инспектор полиции и думаю о том, что у меня на причале. Он сказал: думайте быстрее. — Она помолчала. — Над городом третью

ночь летают дроны. Не наши. Без опознавательных знаков. Мои парни видели один над мостом вчера. Мы не можем их сбить, у нас нечем. Я написала рапорт. Мне ответили: принято к сведению.

— Tal?

— Я не знаю, чьи. — Ольсен посмотрела на него. — Через две недели здесь солнце перестанет садиться. До середины июля. Ни один Вечный сюда не сунется. Ни один. Но смертные из Tal Security — это не Вечные. Им солнце не мешает. — Она отвернулась. — Я вас не выгоняю. Я говорю, что знаю. Решайте сами.

* * *

Он проснулся от сирены.

Сначала он не понял, что это. Звук был высокий, воющий, и Лео подумал, что это Вой, что кто-то из четырнадцати упал в него во сне, что надо держать. Он сел на койке в комнате, которую ему отдали на третьем этаже, и полез за своим сердцем, как за фонариком в темноте.

Потом понял. Сирена была настоящая. Снаружи. Полицейская.

Окно было серое, рассветное. Часы на телефоне: 03:52.

Он подошёл к окну. Внизу, на причале, прожекторы были погашены. Все. Полицейская машина стояла с распахнутой дверью, синие огни крутились на крыше, сирена выла. Ни-

кого рядом с машиной не было.

У барьера, где днём стояли журналисты, лежал человек. Лицом вниз. В тёмно-синей куртке с нашивкой.

А над проливом, низко над водой, без огней, без звука, шли три чёрные лодки.

Лео отступил от окна. Сердце у него стукнуло один раз, сильно, и он сразу его замедлил. Медленнее. Медленнее.

За стеной, в соседней комнате, заскрипела кровать. Кто-то сел. Кто-то встал. Тёплое, тихое в коридоре вдруг стало горячим.

Четырнадцать огоньков проснулись разом.

И пятнадцатый. Дариуса. Белый, как магний.

Глава 5. Чёрные лодки

Коридор был полон.

Четырнадцать человек в майках, в трусах, в спортивных штанах, босиком на линолеуме. Кто-то натягивал куртку. Кто-то стоял неподвижно у стены, прижав ладони к ушам, как от громкого звука, хотя сирена снаружи уже замолчала. Юсуф держался за дверной косяк, и косяк под его пальцами трещал. У Бенте глаза были белые наполовину. У троих в конце коридора, у лестницы, белые целиком.

Тёплое, тихое, которое Лео держал на причале четыре часа назад, кипело. Не костёр, как у Матери. Кастрюля, которую забыли на огне. Ещё не выплёскивается. Вот-вот.

Хеннинг стоял посреди коридора. Огромный, в одних штанах, с седой грудью. Его огонёк был единственный ровный.

— Капитан, — сказал он. — Лодки. Три. Человек по восемь. Они уже на причале. — Он не спрашивал, откуда знает. Он слышал, как слышат волки, носом, кожей, через бетон. — Что делаем?

Лео смотрел на коридор. На белые глаза. На трещину в косяке под пальцами Юсуфа.

Если они обратятся, они будут драться. Если они будут драться, они будут убивать. Двадцать четыре человека в чёрном, без нашивок, на норвежском причале, и четырна-

дцать пепельных зверей, которых весь мир видел на руках с людьми в белых простынях. К утру этот кадр сменится другим. Звери. Кровь. Разорванные тела у барьера. Tal даже не придётся ничего снимать. Норвежские журналисты снимут сами.

Если они не обратятся, их возьмут. Сетями, шокерами, чем там у Tal для бешеных. Увезут в «карантинный центр», откуда не возвращаются. Четырнадцать человек, которые месяц не превращались.

— Мы не убиваем, — сказал Лео.

Хеннинг смотрел на него.

— Это не ответ, Капитан.

— Это ответ. — Лео шагнул в коридор. — Обращаться можно. Убивать нельзя. Ломать можно. Руки, оружие, лодки. Убивать нельзя.

— Они нас будут.

— Они нас будут. Мы их нет. — Лео посмотрел на троих у лестницы, с белыми глазами. — Я буду держать. Сколько смогу.

Хеннинг молчал секунду. Потом кивнул. Медленно.

— Слышали Капитана, — сказал он, не повышая голоса. Тёплое в коридоре дрогнуло. Четырнадцать огоньков повернулись к нему. — Ломать. Не рвать.

* * *

Дариус стоял у окна в комнате Лео.

Он не вышел в коридор. Он стоял в проёме окна, спиной к Лео, и смотрел вниз, на причал. Глаза белые. Плечи под футболкой ходили, как будто под кожей что-то перекатывалось. Лео видел, как вытягиваются пальцы на правой руке, лежащей на подоконнике. Ногти темнели.

— Брат.

— Я слышу. — Дариус не обернулся. — Ломать, не рвать. Я слышал. — Он помолчал. — Там у барьера лежит полицейский, Лео. Молодой. Рыжий. Вчера давал мне сигарету. Я не курю, но взял. Чтобы не обидеть.

— Он живой?

Дариус втянул воздух. Медленно. Носом.

— Живой. Шокер в спину. И укол. Спит.

— Тогда ломать.

Дариус обернулся. Белые глаза, без зрачка. Искры с седой пряди сыпались на плечо. Он смотрел на Лео, и Лео не знал, что он видит. Друга. Или что-то тёплое, медленное, что мешает упасть.

— Держи меня, Капитан, — сказал Дариус. — Я сам не удержусь.

* * *

Они вошли через грузовой вход на первом этаже. Лео слышал. Он слышал их теперь, как слышал волков, только иначе: пустые места вместо огоньков. Холодные, ровные, сосредоточенные. Двадцать четыре пустых места, которые двигались по первому этажу парами, прикрывая друг друга. Профессионально. Тихо. Без единого слова.

Потом на лестнице кто-то сказал по-немецки, негромко, в рацию:

— Второй этаж. Цель на третьем. Фальк живым. Остальных по протоколу.

Голос женский. Сухой. Без выговора, как у дикторов.

На лестничной площадке второго этажа что-то тихо звякнуло о бетон. Покатилось. Зашипело.

— Газ! — крикнул кто-то из волков.

Белое облако пошло вверх по лестнице. Лео почувствовал запах: сладкий, аптечный, как в кабинете зубного. И почувствовал, как четырнадцать огоньков в коридоре дрогнули. Не от страха. От того, что их кто-то тушил. Медленно, насильно, будто на костёр набросили мокрое одеяло.

Он понял. Tal не стреляли в бешеных. Не сразу. Сначала они их гасили. Превращение запускает ярость, ярость — это адреналин. Если адреналин заблокировать, превращения не будет. Какой-то препарат. Бета-что-то. Мама рассказывала,

такие колют в клинике сердечникам перед операцией.

Tal делали химией то же, что он делал сердцем.

Только им было всё равно, что будет с тем, кого гасят.

* * *

Первым упал Юсуф. Он вдохнул газ на площадке, где стоял ближе всех к лестнице, и колени у него подогнулись. Он сел на линолеум, медленно, с удивлённым лицом, и белое из глаз ушло, а с ним, Лео видел, ушло всё остальное. Юсуф сидел и смотрел перед собой пустыми глазами, и слюна текла у него по подбородку.

На лестнице появились двое. Чёрные комбинезоны, чёрные маски с фильтрами, на руках что-то длинное, похожее на гарпунные ружья.

— Окно! — крикнул Хеннинг. — В конце коридора! Не дышать!

Окно в конце коридора было на кухне. Лео бросился туда, по дороге схватил Бенте за руку, Бенте схватила кого-то ещё. Хеннинг уже был у окна. Он не стал его открывать. Он ударил ладонью по раме, и рама вылетела наружу вместе со стеклом.

Внизу, в шести метрах, был бетон причала.

Свежий воздух рванул в кухню. Газ потянуло к окну. Лео отступил от него, задержав дыхание, и почувствовал, как четырнадцать огоньков у него за спиной снова вспыхивают. Те,

кто не вдохнул. Одиннадцать. Двенадцать. Юсуф лежал в коридоре. Ещё один, рыжеволосый, Лео не знал его имени, сидел у стены и смотрел пустыми глазами.

— Прыгаем, — сказал Хеннинг.

— Юсуф…

— Вернёмся за ним. — Хеннинг посмотрел на него. — Если нас возьмут, некому будет возвращаться.

И прыгнул.

* * *

Дальше было не так, как в кино.

В кино Лео видел драки, где всё понятно: вот один, вот другой, вот удар. Здесь было непонятно ничего. Было серое рассветное небо. Был мокрый бетон причала. Было много шума: крики, выстрелы, сухие, негромкие, как будто кто-то щёлкал пальцами, треск, вой, металлический лязг. Были пепельные звери, высокие в холке, худые, с белыми глазами, и их было трудно сосчитать, потому что они не стояли на месте. Были чёрные фигуры в масках, и их тоже было трудно сосчитать.

Лео стоял посреди этого и держал.

Он не дрался. Он не умел драться. Он стоял у стены корпуса, под выбитым окном, и держал своё сердце. Медленно. И держал их. Двенадцать огоньков на причале, которые хотели рвать. Которые были в ярости, в настоящей, белой, древ-

ней, и ярость кричала им: *вот он, враг, вот горло, вот кровь*. Лео держал их. Он не останавливал ярость. Он не мог её остановить, и не хотел: без неё они не обратились бы, без неё их взяли бы. Он только чуть-чуть, совсем чуть-чуть, придерживал её за край. Как придерживают дверь, чтобы не хлопнула.

Ломать. Не рвать.

Бенте в зверином облике сбила с ног человека в маске и вцепилась зубами в гарпунное ружьё у него в руках. Перекусила. Ствол хрустнул, как сухая ветка. Человек под ней закричал. Бенте рванулась к его горлу. Лео почувствовал этот рывок, как свой. *Медленнее.* Бенте остановилась. В сантиметре. Её пасть была у самой маски, и Лео видел, как запотевает фильтр. Бенте фыркнула, как собака, и отпрыгнула.

Хеннинг шёл через причал к чёрным лодкам. Он был огромный в обоих обличьях, но в зверином огромнее вдвое. В него выстрелили дважды. Лео видел, как пули вошли в серую шерсть на боку. Хеннинг не остановился. Он дошёл до первой лодки, взялся за её борт передними лапами и перевернул. Вместе с мотором. Лодка встала на ребро и ушла под воду кормой.

Кто-то из Tal выстрелил в Лео.

Он не сразу понял, что это в него. Удар в левое плечо, сильный, как будто кто-то бросил кирпич. Его развернуло. Он ударился спиной о стену корпуса, сполз на бетон. Посмотрел на плечо. Футболка была тёмная, мокрая, и тёмное

быстро расползалось. Боли не было. Было горячо и странно, будто под кожу налили кипятку.

Он прижал ладонь к плечу. Кровь шла сквозь пальцы. Горячая. Его собственная. Он раньше видел её только в пробирках и пакетах RedDrop. Он посмотрел на неё и почему-то подумал: двести двадцать евро за пол-литра.

Потом жжение изменилось. Кипяток под кожей стал теплом. Тепло стало зудом. Лео держал ладонь на плече и чувствовал, как под ней что-то двигается. Тянется. Стягивается, как шнуровка на ботинке.

Через две минуты кровь остановилась. Через четыре он убрал руку. На плече, под мокрой дырявой футболкой, была розовая, свежая, гладкая кожа. И маленькая сплющенная пуля в складке ткани.

* * *

Дариус был на краю причала.

Лео увидел его, когда поднялся. Пепельный зверь, худой, длинный, с белыми глазами, стоял над человеком в чёрном. Человек лежал на спине, у самой кромки, ноги в воде. Маска с него слетела. Лицо было молодое, белое, с короткой стрижкой. Мальчишка. Двадцать лет, может, меньше.

Дариус держал его горло в пасти.

Не сжимал. Держал. Лео видел, как по шее мальчишки течёт тонкая тёмная струйка. Видел, как мальчишка не дышит,

даже не пытается, только смотрит вверх, на белые глаза над собой, и губы у него шевелятся без звука.

Огонёк Дариуса был белый. Не горячий. Белый. Как магний. Как центр костра на юге.

Лео пошёл к нему через причал. Мимо Бенте. Мимо перевёрнутой лодки. Мимо человека в маске, который пытался поднять гарпунное ружьё, и Хеннинг, не глядя, наступил лапой на ствол. Лео шёл и держал своё сердце обеими руками, если у сердца могут быть руки, и чувствовал, как его медленное тянется к белому огоньку Дариуса и соскальзывает. Не цепляется. Как вода с жирной сковороды.

Медленнее, брат.

Ничего.

Лео дошёл. Опустился на колени рядом. Положил ладонь Дариусу на загривок. Шерсть была горячая, жёсткая, с неё сыпались искры, жгли руку. Ладонь была ещё мокрая от крови. Его собственной. Отданной, вылитой, его.

Он почувствовал, как его кровь касается шерсти.

И огонёк Дариуса дрогнул.

Не от сердца. От крови. Лео не понял, как. Он только почувствовал, что что-то изменилось: белое вдруг узнало его. Как узнают знакомый запах в чужом доме. Белое замерло. Повернулось к нему.

Медленнее.

Дариус разжал челюсти.

Мальчишка в чёрном вдохнул. Громко, со всхлипом, как

утопающий. Перекатился на бок, к воде, и его вырвало.

Дариус стоял над ним, опустив морду. Потом медленно, очень медленно, лёг на бетон. Белое в его глазах тускнело.

* * *

Над проливом застрекотало. Вертолёт. Белый, с красной полосой, с прожектором, который ударил в причал, ослепил, прошёлся по пепельным зверям, по чёрным фигурам, по перевёрнутой лодке. С моста к корпусу неслись машины, много, с синими огнями.

На причале кто-то из чёрных крикнул по-немецки:

— Отход! Отход! Все к лодкам!

Две уцелевшие лодки взревели моторами. Люди в чёрном прыгали в них, кто мог. Кого-то затаскивали. Мальчишку у воды, рядом с Дариусом, не затащили. Он лежал на боку и смотрел, как лодки уходят.

На корме последней лодки стояла женщина. Не в маске. Высокая, худая, с короткими светлыми волосами, гладко зачёсанными назад. Лет сорок пять. В чёрной куртке с поднятым воротником. Она смотрела не на зверей, не на вертолёт. Она смотрела на Лео.

Лео стоял на коленях на мокром бетоне, в дырявой окровавленной футболке, с ладонью на загривке у пепельного зверя.

Женщина на корме подняла руку к уху. Сказала что-то

в рацию. Лео не слышал что. Видел только, как двигаются губы. Коротко. Три слова. Может, четыре.

Лодка ушла в рассвет. Через минуту её было не видно.

* * *

Ольсен приехала с первой машиной.

Она выскочила, не дожидаясь, пока водитель затормозит, без куртки, в одной рубашке и в своей красной шапке, с пистолетом в руке. Остановилась посреди причала. Посмотрела на перевёрнутую лодку. На пепельных зверей, которые один за другим ложились на бетон и начинали меняться обратно. На своего рыжего полицейского у барьера, которого уже поднимали двое её парней. На мальчишку в чёрном, который лежал у воды и плакал.

Потом посмотрела на Лео.

Он сидел на бетоне. Дариус рядом с ним был уже почти человеком: голый, худой, серый, сжавшийся в комок. Лео снял с себя дырявую футболку и накрыл его. Сам остался голым по пояс. На левом плече, там, где была пуля, розовела свежая кожа.

Ольсен смотрела на это плечо. Долго.

— Вас ранили, — сказала она.

— Да.

— Я видела. С моста. В бинокль. — Она подошла ближе. Присела на корточки. Посмотрела на плечо вблизи. — Че-

тыре минуты назад у вас там была дыра. Я видела.

Лео ничего не сказал.

Ольсен медленно убрала пистолет в кобуру.

— Ни одного убитого, — сказала она. — Мои парни посчитали с вертолёта. Шестеро их ранены. Двое у нас. Один утонул бы, если бы этот, — она кивнула на перевёрнутую лодку, на Хеннинга, который уже был человеком и сидел у воды, закутанный в чей-то плед, — не вытащил его за шиворот. — Она помолчала. — Двадцать восемь лет, мистер Фальк. Я никогда не видела, чтобы звери кого-то вытаскивали за шиворот.

* * *

Юсуф и рыжий, его звали Тобиас, пришли в себя к обеду. Газ выветрился из них медленно, как выветривается наркоз. Юсуф первые два часа не мог говорить и всё время мёрз. Потом сказал, что ему снилось, будто он лежит на дне колодца, а наверху кто-то закрывает крышку.

Пленных было двое. Мальчишку у воды звали Феликс, ему было девятнадцать, он был из Касселя и служил в Tal Security одиннадцать месяцев. Второй молчал. Ольсен забрала обоих. Через три часа министерство иностранных дел Норвегии вызвало представителя Конклава в Осло. Через пять часов Tal Security выпустила заявление: никакой операции в Тромсё компания не проводила, все сотрудники нахо-

дятся на своих местах, а лица в чёрном, по-видимому, являются провокаторами, связанными с «Пеплом».

Феликс из Касселя, по словам Ольсен, когда ему прочитали это заявление, засмеялся. Потом заплакал. Потом попросил бумагу и написал на ней своё имя, номер жетона и имя командира.

Майор Анке Фосс. Tal Security, Гамбург.

* * *

Видео появилось в сети к полудню.

Его снял не журналист из-за барьера. Журналисты в ту ночь уехали в гостиницу. Его сняла девушка, норвежская студентка, та самая, которая открыла счёт для пятнадцати. Она жила в доме напротив, через пролив, и в три пятьдесят две проснулась от сирены, и вышла на балкон с телефоном, и у телефона был хороший зум.

Сорок секунд. Причал. Серое небо. Пепельные звери, чёрные фигуры, вспышки. Потом камера дрожит, ищет, и находит человека у стены корпуса. Он сидит на бетоне. Держит ладонь на плече. Ладонь в крови. Камера приближается. Зум. Ещё зум. Изображение рассыпается на квадраты, потом собирается. Человек убирает ладонь. На плече дыра. Тёмная, мокрая. Камера держит её. Тридцать секунд. Кровь перестаёт идти. Дыра становится меньше. Меньше. Розовеет.

Подпись была одна. По-норвежски, по-английски, по-

немецки.

Это Лео Фальк. Его кровь закрывает раны. Теперь вы знаете, зачем она им.

К вечеру видео посмотрели девяносто миллионов человек. Хэштег, под которым его перепостили, появился сам, никто не знал кто первый. По-немецки, по-английски, по-испански. По-польски Лео прочитал его в комментариях у какого-то блогера из Риги.

#солнечнаякровь.

Нин позвонила из Рейне в девять.

— Ты понимаешь, что ты сделал? — сказала она.

— Я ничего не делал. Я сидел.

— Ты сидел и заживал. На камеру. — Пауза. Лео слышал, как она стучит по клавишам. — Теперь каждый Вечный на планете знает, что у тебя внутри. Не только Ингрид. Не только Мадлен. Все сорок тысяч. И все сорок тысяч стареют, Гамбург. — Она помолчала. — Тебе нельзя было показывать, что ты лечишь. Тебе можно было всё, кроме этого.

* * *

Ночью Лео не спал.

Он сидел на причале, на том же месте, где сидел накануне с Магдой. Небо было светлое: в Тромсё в середине мая уже почти не темнело. Перевёрнутую лодку вытащили краном и увезли. На бетоне остались тёмные пятна. Их пытались за-

мыть и не замыли.

Дариус сел рядом. Он был в чужом свитере, бледный, с седой прядью, которая, Лео видел, стала шире. На полпальца. За одну ночь.

Они сидели молча.

Потом Лео почувствовал.

Тепло. С юга. Далёкое, ровное, спокойное. Свет в окне. Только теперь он не просто горел. Он звал. Не громко. Не Лео. Лео он только касался, краем, мимоходом, как касаются рукавом незнакомца в толпе.

Он звал Дариуса.

Лео не слышал слов. Вой не говорил словами. Но он слышал смысл, так ясно, как будто кто-то сказал его в самое ухо. Тёплым, усталым женским голосом. Без нажима. Как говорят матери, когда ребёнок слишком долго гуляет и на улице уже темно.

Приводи его домой, сынок.

Дариус сидел рядом, неподвижно, и смотрел на юг. Лео видел его профиль в светлой ночи. Видел, как дёрнулся угол рта.

— Ты слышал, — сказал Дариус. Не вопрос.

— Слышал.

Дариус кивнул. Долго молчал. Потом сказал, глядя на воду:

— Она сказала «его». Не «вас». Не «мы ждём». — Он повернул голову к Лео. Глаза были свои, тёмные. — Ей нужен

ты, брат. Только ты. Мы ей все не нужны. Ей нужно то, что у тебя в крови.

Глава 6. Полярный день

Двадцать седьмого мая солнце в Рейне не село.

Оно опустилось к горам на северо-западе, к самой воде, медленно, как опускается уставший человек в кресло, коснулось краем моря в половине первого ночи, повисело так несколько минут, красное, огромное, сплющенное, и пошло обратно вверх. Без заката. Без темноты. Просто передумало.

Лео смотрел на это с мостков. Арне сидел рядом с трубкой.

— Всё, — сказал Арне. — До семнадцатого июля. Пятьдесят один день.

— Ты считаешь.

— Я старый. Мне можно. — Арне выпустил дым. — Это ты у нас бросил.

Лео не ответил. Пятьдесят один день. Он не собирался их считать. Он заметил число и отпустил. Почти.

* * *

Из Тромсё они вернулись десятого мая.

Ольсен не выгоняла. Ольсен вообще ничего не сказала, когда Лео пришёл к ней на третий день после рейда и сказал, что уходит. Она сидела в своём кабинете на втором этаже полицейского участка, без шапки, с кружкой кофе, и писала

что-то от руки в толстой тетради. Подняла голову. Посмотрела на него. Кивнула.

— Правильно, — сказала она. — Пока вы здесь, они будут приходить. Пока вас здесь нет, они будут думать, что вы можете вернуться. Это лучше.

— А четырнадцать?

— Четырнадцать мои. — Ольсен закрыла тетрадь. — Осло вчера подтвердил: никакой выдачи. После рейда министр сам позвонил. Сказал, что Норвегия суверенное государство, а не филиал Медных казарм. Громко сказал. В эфире. — Она чуть улыбнулась. — Вечную ипотеку нам, конечно, теперь никто не отсрочит. Полтора миллиона семей будут платить, как платили. Министр знает. Сказал всё равно.

Лео не знал, что на это ответить.

— Мистер Фальк, — сказала Ольсен, когда он уже был в дверях. — Феликс из Касселя. Пленный. Он спрашивал про вас. Хочет знать, почему ваш друг его не убил. Я сказала, что не знаю. — Она помолчала. — Вы знаете?

— Нет, — сказал Лео. — Я только знаю, что он не убил.

Хеннинг проводил их до «Тове». Стоял на причале, огромный, с седой грудью под расстёгнутой курткой, и смотрел, как Арне отдаёт швартовы. Когда «Тове» уже отходил, он сказал, негромко, через полоску воды:

— Дороги теперь её, Капитан. Хиртсхальс, Берген, Кристиансанн. Я звонил своим. Трое не взяли трубку. Двое взяли и сказали, что не знают никакого Хеннинга. Она их за-

брала. Всех. За два месяца.

— Я знаю.

— Если пойдёшь к ней, не ходи один, — сказал Хеннинг. — И не ходи с ним. — Он посмотрел на Дариуса на носу. — С ним хуже, чем одному.

Лео не обернулся к Дариусу. Он знал, что Дариус слышал.

* * *

Нин встретила их на мостках с ноутбуком в руках.

Не поздоровалась. Не спросила про плечо. Просто развернула ноутбук экраном к Лео и сказала:

— Мне нужен ключ.

— Какой ключ?

— Не знаю. — Нин была бледная, с синими кругами под глазами. Каспар стоял за её спиной и смотрел на Лео поверх её головы с выражением человека, который трое суток слушал, как кто-то ругается на клавиатуру. — Второго мая я проверяла свою запись в «Мнемозине». Как всегда. Раз в неделю. Это привычка, не смейся.

— Я не смеюсь.

— У меня в записи появилась строчка. В поле калибровки. Где пишут комментарии к рейтингу. — Она ткнула пальцем в экран. — Вот.

Лео наклонился.

recal_note: lille_fugl // key=det_i_hojre // tmp_ref:/arch/c/

nb/0417

Он прочитал. Потом ещё раз.

Lille fugl.

— Это она, — сказала Нин. — Я знаю, что это она. Больше никто. Это ссылка на файл в архиве битых записей, туда никто не ходит. Файл зашифрован. Ключ, судя по всему, вот это, — она провела пальцем по строчке, — только это не работает. Я пробовала. Как написано, с пробелами, с датскими буквами, в верхнем регистре. Двести вариантов. Это датский. Я прогнала через переводчик: «то, что в правой». В правой чего? Руке? Колонке? Это ничего мне не говорит.

Лео смотрел на строчку.

Det i højre. То, что в правой.

Он видел это одиннадцать секунд, на мостках, ночью, с телефоном Нин у самого уха. Ада у перил. На восьмой секунде она поправляет край перчатки у запястья. Правой рукой. Как Ингрид. И на десятой говорит одними губами два слова, которых «Мнемозина» не могла знать.

— Перчатка, — сказал он. — Правая. У неё в подкладке бумажка. Строчка из колыбельной. С января. Она мне показывала.

— И что там?

Лео закрыл глаза. Он видел эту бумажку один раз, в феврале, в подвале Алого госпиталя, когда Ада развернула её на ладони, чтобы он прочитал, и сразу сложила обратно. Мелкий почерк с длинными петлями, чужие буквы, которые она

сама не знала, как правильно писать.

— *Sov nu, min lille fugl*, — сказал он медленно, по слогам, как запомнил. — *Jeg er her*. Спи, мой птенчик. Я здесь.

Нин смотрела на него секунду. Потом выхватила ноутбук.

— Как пишется? По буквам. — Она стучала по клавишам. — С точкой? Без? «Ег» через j? Боже, Корвин, почему нельзя было по-английски… — Стук прекратился.

Нин смотрела на экран.

— Открылось, — сказала она тихо.

* * *

Три строчки. Лео прочитал их стоя, через плечо Нин, на мостках, под солнцем, которое в шесть вечера стояло высоко и било в экран так, что приходилось щуриться.

Не Чёрный банк. Гамбург. «Меридиан», 44, северо-запад. Каждое утро в семь берут 10 мл. Опека: ван Ален. Прости. А.

Он читал это и думал не о «Меридиане». Про «Меридиан» он знал от Сабины. Про десять миллилитров знал. Про ван Ален знал. Он думал про последнее слово. Перед буквой.

Прости.

Она не врала. Он знал, что она не врала, он знал это месяц, он ни разу не думал иначе. Но он не знал, что она это знает. Что она сидит там, в Серебряной башне, на тридцать втором этаже, с бокалом в четыре утра, и думает, что он ищет сестру

не там. Что она ему сказала неправду, пусть и не нарочно. Что она полезла в «Мнемозину», под носом у Ингрид, чтобы исправить.

Прости. А.

— Она рискнула, — сказала Нин. — Ты понимаешь? Корвин видит всё. Это поле в моей записи — служебное, его не читают, но если кто-нибудь когда-нибудь заведёт поиск по слову «lille» или «fugl», он найдёт. Она подставилась ради трёх строчек, которые ты уже знал.

— Она не знала, что я знаю.

— Я понимаю. — Нин закрыла ноутбук. Посмотрела на воду. — Я не о том. Я о том, что она до сих пор… — Она не договорила.

— Что?

— Ничего. — Нин встала. — Я напишу ответ. Таким же способом. В её запись. У неё теперь есть запись, она Продлённая, у всех Вечных есть. Поле калибровки. Одна строчка. Что написать?

Лео думал долго. Солнце висело над горами.

— Знаю, — сказал он. — Спасибо. Л.

— Всё?

— Всё. Больше нельзя.

Нин кивнула и ушла в домик.

Ответа не пришло. Ни через неделю. Ни через три. Нин проверяла каждый день. Лео не спрашивал. Нин сама говорила, не глядя на него, за завтраком: «Ничего». Он кивал.

* * *

Ночью двадцать девятого мая они с Дариусом поднялись на Рейнебринген.

Это была гора прямо над деревней, острая, серая, четыреста с лишним метров. На вершину вела лестница. Каменная. Тысяча девятьсот семьдесят восемь ступеней, сказал Арне, их сложили шерпы из Непала несколько лет назад, вручную, из местного камня, чтобы туристы перестали падать. Туристов в этом году не было. Туристы в этом году вообще никуда не ездили.

Лео не считал ступени. Он заметил, что их много.

Они шли молча. Дариус впереди, легко, как будто под ногами была ровная дорога, не оглядываясь. Лео сзади, тяжело дыша. Ему не нужно было останавливаться: ноги не уставали, лёгкие работали ровно, живая кровь делала своё. Но он останавливался. Каждые двести ступеней. Смотрел вниз, на деревню, на красные домики у воды, на «Тове» у причала, крошечный, как игрушка.

В час ночи они были наверху.

Солнце стояло над морем на севере, низкое, оранжевое. Всё вокруг было оранжевым. Горы, вода, острова до самого горизонта, облака. Тень от вершины лежала на воде длинным острым клином и доходила почти до соседнего острова. Ветра не было. Было тихо так, что Лео слышал, как у него в

ушах стучит кровь.

Дариус сел на камень на краю. Лео сел рядом.

— Девятое ноября, — сказал Дариус через какое-то время. Не глядя на Лео. — Двадцать пятый год. Ты помнишь, где ты был?

— На смене. Санкт-Георг, Ауссен-Альстер. Две доставки.

— А я был в подсобке у кебабной на Фельделе. RedDrop. Третий раз за неделю. — Дариус смотрел на солнце. — Я не говорил тебе. Ты бы ругался. Мне нужны были деньги на студию. Помнишь, я хотел студию? Маленькую. Микрофон, пульт, звукоизоляцию в шкафу. Тысяча восемьсот евро. Я посчитал. Двенадцать раз сдать. Потом сто евро за раз, а не двести двадцать, они после третьего раза за месяц режут цену. Значит, восемнадцать раз.

Лео молчал.

— Маттиссен пришёл в десять вечера. Облава. Двадцать человек, фургоны, прожекторы. Они искали не меня. Они искали девчонку, которая неделю до этого обратилась на Реепербане. Я сидел в кресле с иглой в руке, полпакета. Кто-то закричал. Кто-то ударил дверь. Мужик, который держал точку, побежал и опрокинул штатив. Игла вылетела. Кровь на полу. Моя. — Дариус помолчал. — Я встал. Голова кружилась. Я увидел в дверях человека в медной куртке с карабином. И я подумал: это он у меня забирает. Не кебабщик, не RedDrop. Он. Они все. Вот этот.

— И упал.

— И упал. — Дариус кивнул. — Как в воду с мостков. Магда правильно говорит. Я ничего не помню. Только запах. Пахло горелым. Это от меня. Шерсть.

Солнце медленно двигалось вдоль горизонта. Тень от вершины поворачивалась на воде, как стрелка часов.

— Я девять дней был зверем, — сказал Дариус. — Девять. В подвалах Шпайхерштадта. Ел крыс. Пил из канала. Я не знал, кто я. Я не знал, что я был кем-то. Было только «есть» и «злой». Всё время злой. На воду, на крыс, на свет из решёток. На десятую ночь пришла она.

Лео ждал.

— Она не была зверем. Она пришла как человек. В сером халате. С сумкой. Села на пол у стены, в двух метрах от меня. Я рычал. Я, наверное, хотел её разорвать. Она сидела. Достала из сумки контейнер с едой. Мясо. Варёное. Положила на пол. Подвинула ко мне. И сидела. — Дариус потёр лицо ладонью. — Три ночи. Каждую ночь. Мясо, вода. И говорила. Я не помню что. Тихо. Всё время. Как радио. На третью ночь я понял, что понимаю слова. На четвёртую лёг рядом с ней. На пятую проснулся человеком. Голый, на бетоне, в собственной моче. Она накрыла меня своим халатом.

Он замолчал. Солнце висело над морем.

— Она меня кормила, брат, — сказал Дариус. — Когда я был зверь и ничего не понимал. Никто не пришёл. Ни мама, ни ты, ни Tal со своими сетками. Она пришла. — Он повернул голову к Лео. — Я знаю, что она делает. Я знаю, чего она

хочет. Я знаю, что на Белом театре она кричала «режьте», и резали. Я был там. Я её ранил. А она меня кормила.

Лео ничего не сказал. Он сидел на краю горы, на камне, тёплом от солнца, которое не садилось, и смотрел на своего друга, которому по паспорту было девятнадцать, а телу двадцать два, и седая прядь у него на виске стала шириной в два пальца.

— У неё был сын, — сказал Дариус. — Ян. Семнадцать лет. Ты знаешь.

— Знаю. RedDrop.

— Сто девять раз за полгода. — Дариус смотрел на море. — Она сама мне сказала. Один раз. Сто девять. Она медсестра, она знала, что это значит. Она не знала, что он ходит. Он ей врал. Говорил, что работает в доставке. Как ты. — Пауза. — Его нашли в подсобке кебабной на Штайндамм. На стуле, с иглой в руке. Белого. Как бумага.

* * *

Письмо от Аурела пришло третьего июня. Через ту почту, которую Нин настроила на Карфаксе. Без фотографии. Длинное.

Аурел писал по-немецки, старомодно, с длинными предложениями, с точкой с запятой, которую Лео не видел в живом тексте ни разу в жизни, кроме школьного учебника.

Кандидат,

я в Венеции, в доме одного смертного друга на Джудекке; не пишу точнее, потому что Северин ищет меня с той же настойчивостью, с какой двести лет искал хорошее вино, и примерно с тем же вкусом. Друг мой — реставратор, ему восемьдесят один год, и он единственный человек на земле, которого я знал молодым. Теперь мы стареем вместе. Он говорит, что я догоняю.

Это правда. Вчера я нашёл у себя седой волос на виске; сегодня — четыре. Руки у меня дрожат над колбами, чего не случалось с тысяча восемьсот двадцать четвёртого года, и я разбил две реторты за неделю. Я сплю ночью и бодрствую днём, как вы; солнце обжигает меня, но не старит сверх положенного; я ем хлеб. Я забыл, какой он на вкус. Он прекрасен. Он отвратителен. Я не могу решить.

Я видел запись из Тромсё. Весь мир видел. Вы понимаете, что сделали: вы показали, что вы лекарство. Теперь за вами придут не только те, кто хочет жить вечно, но и те, кто хочет просто жить. Это хуже.

Но я пишу о другом. Я пересмотрел запись девять раз. На двадцать восьмой секунде, когда камера уходит с вашего плеча, она на мгновение берёт край причала, и там зверь стоит над человеком в чёрном. Вы кладёте ладонь ему на загривок. Ладонь в крови. И зверь отпускает.

Запомните это. Ваша кровь коснулась волка, и волк остановился. Не сердце — кровь. Я сто лет пытался понять, почему ампула не действовала на мышах, на крысах,

на мне самом, когда я крал вашу кровь из пробирок медосмотра в октябре; и почему подействовала, когда вы сами, по своей воле, лежали на моей кушетке и смотрели на часы. Я думал, дело в дозе. В свежести. В температуре колбы. Я ошибался.

Вы мне отдали. Я не взял.

Кажется, в этом всё дело.

Я не знаю, что это значит. Я учёный, мне стыдно писать «кажется». Но я пишу.

И последнее. Нокс держит вашу сестру. Не Корвин, не Вей, не Тальмар. Нокс. Будьте осторожны с Мадлен. Я знаю её с тысяча восемьсот тридцатого года и не знаю о ней ничего. Только одно: она была при начале. Я не знаю, при каком. Но когда в тысяча восемьсот семидесятом году в Вене Конклав спорил о происхождении голода, она сидела молча весь вечер, а в конце сказала: «Вы спорите о том, чего не видели», — и ушла. Никто не посмел спросить, что видела она.

Песок сыплется. Мне нравится смотреть.

А. В.

Лео перечитал письмо трижды. Потом распечатал на принтере Арне, который жевал бумагу, и повесил над кроватью рядом с фотографией песочных часов.

Вы мне отдали. Я не взял.

Он стоял и смотрел на эти слова. Он не понимал их. Он чувствовал, что когда-нибудь поймёт, и что ему это не по-

нравится.

* * *

Нин и Каспар ловили рыбу.

Лео видел их с мостков. Они сидели в маленькой гребной лодке Арне в сотне метров от берега, посреди залива, под солнцем, которое в два часа ночи светило так же, как в два часа дня. Каспар грёб. Нин сидела на корме с удочкой и ноутбуком на коленях. Удочку она держала неправильно, Лео видел даже отсюда. Каспар что-то ей говорил. Она что-то отвечала. Потом Каспар перестал грести, перебрался к ней на корму, лодка накренилась, Нин вскрикнула и схватилась за борт, и Каспар взял её руки в свои и показал, как держать удочку.

Он не отпустил её руки, когда показал. Она не отняла.

Лео отвернулся.

Утром Нин сидела за кухонным столом, как всегда, с ногами на стуле, и смотрела в экран. Не новости. Какой-то список, таблицу на китайском.

— Что это? — спросил Лео.

— Шэньчжэньский комитет по занятости. — Нин не подняла головы. — Отец потерял работу. Восьмого мая. Его уволили с завода, где он двадцать два года собирал платы. Причина: «несоответствие кровного рейтинга члена семьи». Член семьи — это я. — Она закрыла таблицу. — Я не могу

ему позвонить. Если позвоню, их найдут через минуту. Я не могу перевести деньги. Если переведу, найдут через час. Я могу только смотреть. Каждое утро. Как он стоит в очереди на бирже. У них там камеры, я их взломала.

Лео сел напротив.

— Нин.

— Не надо. — Она закрыла ноутбук. — Он знал. Когда я в пятнадцать лет взломала свой рейтинг, он знал, что это кончится чем-то таким. Он сказал: «Ты всё равно сделаешь, значит, делай хорошо». — Она помолчала. — Я сделала хорошо. Видишь, как хорошо.

* * *

Двадцать пятого июня Лео собрал всех на кухне.

Солнце било в окно, хотя было одиннадцать вечера. Арне задёрнул штору. Стало оранжево и тесно.

— Я иду в Гамбург, — сказал Лео.

Никто не удивился.

— Хеннинг сказал, дороги её. Сабина сказала, она меня ждёт. Видео с причала видел весь мир, значит, теперь меня ждут все. — Он посмотрел на Дариуса. — Она зовёт тебя. Каждую ночь. Я слышу. Она хочет, чтобы ты привёл меня домой.

Дариус не ответил.

— Если она ждёт меня домой, — сказал Лео, — я приду

домой. Сам. Через её дороги, через её людей. Мне нужно увидеть её. Мне нужно понять, чего она хочет. Мне нужен Гамбург, и он мне нужен изнутри.

— Это ловушка, — сказал Каспар.

— Это всё ловушка. «Меридиан» ловушка. Мадлен ловушка. Тромсё был ловушкой. — Лео пожал плечами. — Отец говорил: если в порту все краны заняты, иди к тому, у кого очередь короче.

— Это не он говорил, — сказала Нин. — Ты это придумал.

— Придумал. — Лео почти улыбнулся. — Но звучит как он.

Он посмотрел на Нин и Каспара.

— Вы идёте отдельно. Через Копенгаген. У Нин есть документы.

— Будут через три недели, — сказала Нин. — Хорошие. Не как в прошлый раз.

— Через три недели. Встретимся в Гамбурге. Арне везёт нас с Дариусом до Бергена. Дальше… — Он посмотрел на Дариуса. — Дальше она.

Дариус долго смотрел на него. Потом закрыл глаза.

Лео почувствовал это. Не услышал, почувствовал, как чувствуют сквозняк в комнате, когда кто-то за спиной открыл окно. Дариус отпустил что-то в себе. Протянул. Через тысячу двести километров, через горы и море, туда, на юг, к тёплому свету.

Мы идём.

Ответ пришёл сразу. Лео не успел вдохнуть. Тепло с юга вспыхнуло, как вспыхивает лампа, когда поворачиваешь выключатель, и накрыло кухню, и Арне в своём углу вздрогнул, хотя не мог ничего слышать, и Магда на скамье схватилась за край стола.

Тепло. Радость. Спокойная, глубокая, без единой искры злости. Такая, какая бывает у матери, которая услышала шаги сына на лестнице.

Дариус открыл глаза. Они были мокрые.

— Она сказала, — проговорил он хрипло. — Через четыре дня в Бергене. Причал Скольтегрунн. Траулер «Сёльвбьёрг». Спросить Тура.

Глава 7. Груз

Арне довёз их до Бергена за пятьдесят восемь часов.

Он шёл не вдоль берега, как в Тромсё, а мористее, за шхерами, по открытой воде, где «Тове» качало так, что Лео первые сутки не мог стоять. Арне сказал, что у берега в этом году много лишних глаз: Tal арендовал у рыбаков в Будё два старых патрульных катера и гонял их вдоль побережья, будто искал браконьеров. Браконьеров они не искали.

Дариус сутки пролежал в трюме среди сетей. Не от качки. Волков не укачивало. Он просто лежал с закрытыми глазами, с наушниками, в которых была тишина, и Лео чувствовал, как с каждой милей на юг тёплый свет внутри него становится ярче. Дариус не говорил об этом. Лео не спрашивал.

Нин и Каспар остались в Рейне ждать документы. Магда осталась с ними. Прощались на мостках, коротко. Нин сунула Лео в карман старый телефон без сим-карты и сказала, что на нём один номер и одна программа, и если он откроет что-нибудь ещё, она его найдёт и убьёт. Каспар пожал руку. Крепко, по-тальмаровски, двумя руками. Магда обняла Дариуса, долго, и сказала ему что-то на ухо по-польски, а он засмеялся. Первый раз за две недели.

* * *

Последнюю ночь в море Арне не спал. Стоял в рубке у штурвала. Лео поднялся к нему в три часа ночи. Солнце здесь, на юге, уже садилось, ненадолго, на пару часов, и небо было тёмно-синим, почти чёрным, со светлой полосой на севере.

Лео не видел темноты почти месяц. Он смотрел на неё, как смотрят на старого знакомого, который давно не заходил.

— Тур, — сказал Арне, не оборачиваясь.

— Что Тур?

— Я его знаю. Тур Хаугланд. Сорок лет ходил на треску в Баренцево. Хороший рыбак. Плохой человек. — Арне держал штурвал одной рукой. — В девятнадцатом году у него дочь обратилась. Шестнадцать лет. Tal её застрелил в Тромсё на улице. Прямо в центре. При людях. Говорят, она никого не тронула, просто стояла и не могла перестать. — Он помолчал. — С тех пор Тур делает для Стаи всё. Всё, парень. Я понятно говорю?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.